

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

4552221.00

65 212 454941

ВОЗНЕСЕНИЕ

161154621.00

ЛУЧШИЕ ВОЕННЫЕ РОМАНЫ

Мир безумия и страха не надо

Последнее предупреждение

65 212 454941

Координаты



Включивать ущелье

Приказы не обсуждаются

34 478 4621

След на афганской пыли

СПЕЦНАЗ. ПОДАРОЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

Александр Проханов

Дворец

«ЭКСМО»

1994

Проханов А. А.

Дворец / А. А. Проханов — «Эксмо», 1994

«Иногда, в редкие минуты одиночества и покоя, он пытался представить, откуда, из какой глубины возникла его душа. Из какого невнятного мерцающего тумана она всплыла в жизнь. По крохотным пылинкам памяти, по мимолетным корпускулам света он восстанавливал момент своего появления. Цеплялся за младенческие хрупкие образы, вслушивался в слабые отголоски, стремился различить, уловить ту черту, за которой из туманного, неразличимого целого возникло отдельное, осязаемое, чувствующее – он сам. Перебирая воспоминания, удаляясь в прошлое, в юность, в детство, он словно уносился вспять на тончайшем световом луче, врывался в дымное непроглядное облако, из которого вышел. Сверкающая бесконечность чудилась ему за этой мглой и туманом. Туда, в это необъятное сверкание, пройдя сквозь сумрак, вернется его душа...»

© Проханов А. А., 1994

© Эксмо, 1994

Содержание

Часть I	5
Глава первая	5
Глава вторая	9
Глава третья	18
Глава четвертая	25
Глава пятая	29
Глава шестая	35
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Александр Андреевич Проханов

Дворец

Долго ли мне видеть знамя, слушать звук трубы?
Иеремия, VI, 21

Часть I

Глава первая

Иногда, в редкие минуты одиночества и покоя, он пытался представить, откуда, из какой глубины возникла его душа. Из какого невнятного мерцающего тумана она всплыла в жизнь. По крохотным пылинкам памяти, по мимолетным корпускулам света он восстанавливал момент своего появления. Цеплялся за младенческие хрупкие образы, вслушивался в слабые отголоски, стремился различить, уловить ту черту, за которой из туманного, неразличимого целого возникло отдельное, осязаемое, чувствующее – он сам. Перебирая воспоминания, удаляясь в прошлое, в юность, в детство, он словно уносился вспять на тончайшем световом луче, врывался в дымное непроглядное облако, из которого вышел. Сверкающая бесконечность чудилась ему за этой мглой и туманом. Туда, в это необъятное сверкание, пройдя сквозь сумрак, вернется его душа.

Танки в пустыне, скрежет песка и железа. Корма зарывается в белый горячий бархан. Прыгать с брони в раскаленное пекло, в песчаную жижу и бежать, хватая губами прозрачный огонь. Солдат, как ящерица, вьется на склоне, сволакивает на себя лавину песка. От подошвы в глаза – колючие брызги. И в броске, в кувырке, ослепнув от солнца, бить очередями в небо, в бархан, в белый жидкий песок.

Все это там, вдалеке, в азиатском гарнизоне, где надрывается его батальон – водит машины, дырявит мишени, ведет рукопашный бой, вяжет из слег штурмовые лестницы. В казармах, в ружейных комнатах – запах пота и смазки, тусклый блеск остывающего после пустыни оружия.

А здесь – мягкая тьма уютной московской квартиры, тихий шелест ночных машин, сочный свет фонарей, старомодных, как зонтичные соцветия. Безлистые деревья бульвара, окаймленные чугунной решеткой. И она, хозяйка этого дома, синеватого окна, картины в старинной раме, мохнатого густого ковра, бронзовых безделушек на столике, она наклонилась над ним, сыплет ему на лицо щекочущие душистые волосы, шепчет:

– А вот так меня видишь?.. А вот так слышишь?..

Калмыков лежал, не отвечая, чувствуя на себе ее тяжесть, лениво и сладостно думал: в этом доме, малознакомом, со множеством таинственных мелочей, загадочных вещиц и предметов, он счастливо отделен от тревог и опасностей, освобожден от угрюмых забот, больших мыслей, грозных и жестоких предчувствий.

– Когда я тебя первый раз увидела в музее, меня удивило, как ты смотришь картины. Ты медленно издали приближался, словно картина тебя засасывала, ты как бы уходил в картину, растворялся в ней. Вот-вот исчезнешь, превратишься в того прохожего, который идет по мокрой дороге в Аверне, и мимо тебя, отражаясь в лужах, катит двуколка. Или окажешься среди красноватых камней на козьей тропе, где девочка танцует на шаре, и сидит на жаре атлет, и пасется белая лошадь. Или войдешь в хоровод, в красный бешеный круг, и тебя охватят неистовые танцоры. Когда я тебя увидела, я пошла за тобой по залам. Подглядывала, удивлялась...

Он закрыл глаза: тут зеленый луг, сине-стальной от росы, и по травам, сминая их пятками, несутся танцоры, красное запущенное колесо, голошение, удары ног, выпуклые раскаленные мускулы. Зелень луга бледнела, наполнялась злой желтизной, рыжим сыпучим песком. Солдаты скребли руками барханы, падали и катились, а на них проливался вялый язык песка. Спецназ хороводил в пустыне, и он, комбат, облизывал шершавые губы, выдувал из них, как из газовой горелки, прозрачный огонь.

– Ты полежи, подремли, я тебя усыплю, убаюкаю...

Он лежал на спине, закрыв глаза, чувствуя приближение ее руки, как набегающую, чуть слышную волну тепла. Пальцы осторожно коснулись лба, проникли в глубь волос, медленно заскользили. Он слышал шелест ее пальцев, словно с них ссыпалось легчайшее электричество. Казалось, пальцы ее разбинтовывают его голову, разматывают виток за витком жесткий бинт, и он освобождается от тревожных видений.

«Шилка», четырехствольная установка, ведет огонь по горе. В вечернем воздухе – ливень пламени. И там, где он касается дальнего склона, – месиво стали, гранита, дыма. Снаряды вырубают нишу в горе, заталкивают в нее непрерывные взрывы.

И это видение исчезло с витком бинта, ее пальцы скользят по лбу, шелестят в волосах.

«Миги», как крохотные осколки стекла, пикируют на позиции. Космы вялого дыма, подземный грохот и гул. Солдат-новобранец поднимает к небу потное худое лицо, ищет в слепящем свете разящий укол самолета.

И это отпало с витком повязки. Ее осторожные пальцы отклеивают от воспаленного лба сухую коросту пустыни, фольгу звенящих небес, крестик пикирующего самолета.

Хрип рукопашного боя. Кувьрки и удары. Еканье селезенки.

Сержант, оскалив желтые зубы, с выдохом бьет по запястью солдата, выбивает штык-нож. Тяжелое лезвие, проблестев, ударяет в стену казармы, уходит со стуком в белую сухую доску. И это сняла, отмотала витком бинта. Лоб, освобожденный от спекшейся марли, чувствует прохладу и свежесть, близкое тепло ее пальцев.

– Ты мой милый, любимый...

Он дремал, как под наркозом. Думал, грезил, и мысли, подобно туману, таяли над тихой темной водой, где округлые листья кувшинки, сочный желтый цветок, легкая рябь водомерки.

Он приехал в отпуск в Москву, где прошло его детство. Перед этим все лето и осень рыскал по туркестанским пескам, по гарнизонам в пустыне. Формировал батальон, специальную секретную часть, выполняя приказ командования. Перегонял на платформах технику, отбирал на складах оружие и сразу бросал на учения. Ревели на танкодромах моторы, грохотали стрельбища, солдаты в марш-бросках падали от тепловых ударов.

Батальон спецназа выстраивался для проверок. Генералы, сменяя друг друга, всматривались в лица солдат. В разведцентре под листом плексигласа пестрела карта Кабула. И он, Калмыков, вчитывался в названия улиц: Майванд, Дарульамман, Шари-Нау.

Батальону предстояло задание. Его цели и смысл были скрыты в кабинетах Генштаба, составляли тайну политиков. Он, комбат, был орудием в неясной игре. Гонял по директрисам машины, изнурял батальон в марш-бросках. Расходо­вал тройные нормы боекомплектов. Чувствовал – приближается грозное, задуманное кем-то деяние, где его батальону отведена опасная роль.

Но теперь, приехав на краткий отпуск в Москву, в солнечно-туманное предзимье, он старался забыть о пустыне. Ходил в театры, наслаждаясь не только спектаклями, но и зрелищем золочено-сумрачных лож, хрустальных ослепительных люстр. На улицах он ловил выражения лиц, вчитывался в названия с детства памятных улиц. В консерватории бархатный рев органа создавал из звуков великолепные громады, напоминая звучащие горы. Картины, которые он видел на выставках, складывались ночью в разноцветные сны, где возникали забытые и уже не существующие подворья, убранство исчезнувших комнат, образы умерших родите-

лей. Несколько дней назад он познакомился с этой женщиной в утреннем полупустом музее. В бледном солнце, драгоценные, висели картины. Алый, в неистовом плясе мчался и топотал хоровод.

Теперь он лежал утомленный, счастливый, слышал шелест ее пальцев. И она говорила:

– Все эти дни смотрю на тебя, слушаю, стараюсь понять. Что знаю о тебе? Ты военный, занят непонятным мне ремеслом, наверное, очень трудным, опасным. Я всегда почему-то сторонилась военных. А тебя не боюсь. Знаешь, у тебя как бы два лица. Одно очень мягкое, доброе, даже беззащитное, обращено на меня. А другое жесткое, даже жестокое, которое обращено на что-то непонятное мне, страшное. Иногда ты робкий и наивный, как ребенок, а иногда – как суровый старик. Ничего, что я тебе это сказала? Я тебя не обидела?

Ее пальцы чуть касались его лба. Казалось, с них падают капли пота, проникают в глубины памяти, освещают забытые, затаенные уголки. Каждая беззвучная капля освещала малое пространство минувшего. Оно озарялось и гасло.

Бабушкин столик из красного дерева, открытый томик Евангелия, бабушкины очки. Она сама где-то рядом, ее белые, гладко причесанные волосы, торопливая легкая поступь.

Открытая форточка, и в дрожащей студеной синеве – звон переулка, запах снега, крики мальчишек. Он разложил на полу книги из отцовской библиотеки. На старинных цветных литографиях – индийские пагоды, турецкие минареты, островерхая германская готика. Влекущий загадочный мир, в который можно умчаться, превратившись в солнечный лучик и скользнув в голубую форточку.

Его детские санки, наборные цветные дощечки. Из-под полозьев золотые дорожки. Мама тянет бечеву, и он, закутанный в шубу, перепоясанный шарфом, будто впервые прозрел и увидел – голубоватый снег переулка, золотые песчинки от санок, материнская узорная варежка.

Ее пальцы касались лба, и их продолжением были невесомые лучи, проникавшие в сумрачную глубину памяти, озарявшие потаенные уголки.

– Ты лежи, дремли... А я еще одну твою морщинку расправляю...

Он дремал не дремал. Удивлялся – она и впрямь угадала его. Его два лица, его двойственность, будто он проживал две отдельные жизни, две несопоставимые судьбы. Одна – военная, явная, грозная фатальная сила, двигающая государствами, армиями, толкала его в угрюмое неизбежное будущее. Другая – неясная, касавшаяся его одного, из тончайших невнятных энергий, из прозрений, предчувствий, бессловесных ночных молитв, вымаливающих недостижимое счастье.

– Мы так мало знаем друг друга, – говорила она. – Поссоримся из-за какого-то пустяка, расстанемся и больше не вспомним. Забудем друг друга. Или наоборот, мелочь за мелочью, пустячок за пустячком, сблизимся, привыкнем друг к другу, станем неразлучны. Мы ведь себя испытываем, присматриваемся друг к другу. Давай все эти дни будем вместе. Я поведу тебя к моим друзьям, может быть, ты с ними тоже подружишься. Поведу тебя по улочкам, переулочкам, покажу мои любимые особнячки и церквушки, может, ты их тоже полюбишь. Почитаю тебе мои любимые стихи, вдруг они тебе понравятся. И когда ты узнаешь меня и ничего тебе во мне не будет чуждо, я тебе что-то скажу, в чем-то признаюсь. Не сейчас, а через месяц, когда уже выпадет снег и на бульваре, напротив, будет стоять большая елка в огнях!..

Он верил не верил в этот предстоящий чудесный месяц, где короткие холодные дни, студеной камень домов, зябкие деревья бульвара. Бархатный, смуглый сумрак ее теплой, уютной комнаты. Рюмки с красным вином, на скатерти розовая капля. Белый снегопад за окном, мягкие ровные хлопья окружают огни фонарей. Они выходят на бульвар. Елка черным конусом в ветряных хлопюшках и флагах, в мигании разноцветных точек. Они идут по бульвару, оглядываются – елка мерцает, искрится. Особнячки и колонны, вихри пролетных машин. И, пройдя весь длинный черно-белый бульвар, выйдут к реке. Кремль, как розовое парящее диво, золотые глазницы соборов и на льдистой воде маленький стучащий кораблик.

Ему казалось возможным одоление фатальных сил, уход из реальности, толкающей мир в катастрофу. Казалась возможной другая, сокровенная жизнь, где будет их дом и семья, новорожденный млечный ребенок. Все было доступным, возможным. Нужно только дремать, слушать шелест ее пальцев, ловить капли света, падающие в сонную память.

Капля – и золотое колечко с бриллиантом на маминой белой руке.

Капля – и веточка тополя на подоконнике в бутылке с водой.

Капля – и цветной черепок в крапиве на влажной грядке.

– Я недавно получила письмо, анонимное, какая-то пророчица пишет. Что будет беда, со мной, с тобой, со всеми. Будет война, и нас спялят и разрушат. И мор, когда все умрут от голода и от страшных болезней. И другая напасть, когда все перессорятся, возненавидят друг друга, ополчатся один на другого. Такие письма подбрасывают, многие их получают. Что-то ужасное ходит рядом, заглядывает в каждый дом, высматривает себе добычу. Будет несчастье, не знаю какое, но будет!..

Ее ладони лежали у него на груди. Они задрожали, и ему показалось, что она плачет. Он испытал к ней нежность. Еще недавно незнакомая и чужая, она за эти дни стала близкой, родной. Он протянул к ней руки, обнял, прижал:

– Не тревожься... Все будет у нас хорошо...

Он прижался к ней плотно, тесно. Слышал ее дыхание, биение сердца. Чувствовал – невидимая угрюмая сила стремится их разлучить, слепая могучая воля отрывает их друг от друга. Острый железный вектор, как громадный гарпун, нацелен сквозь них, и там, куда смотрит кованое острие, действует его батальон. Зарывается в сухие барханы. Катит под туманными звездами. Рассылает во тьму огненные брызги трассеров. Там, за линией гор, Иран стенает, казнит и молит. Пенят волны залива громады авианосцев. На красной метле взмывает ночной штурмовик. Там, в афганских ущельях, начинается смута, горят кишлаки, бунтуют полки и дивизии. Граница страны дрожит, как мембрана, выгибается, готова прорваться. Кабул среди снежных предгорий, голубые главки мечетей, голошение рынков и торжищ. Туда, в этот город, нацелен отточенный вектор, мчатся пунктиры трассеров, стремится ночной батальон.

Калмыков не хотел разлучаться. Она казалась ему воплощением той самой желанной жизни, от которой каждый раз его отлучали. Он целовал ее. Губы, хрупкие с ложбинкой ключицы, теплые тугие соски. Тьма разгоралась. Туманно бродили огни. Мигали и гасли пунктиры... Он бежал, задыхаясь, на гору, на скользкий слепящий склон, и там, на вершине, бело-снежный, возник дворец, огромный, парящий, качался, струился, как облако, и канул. Пустота. Дыра в мироздании, окруженная мерцающей пылью... Они лежали, не касаясь друг друга, и были слышны стук часов.

Резко зазвонил телефон. Еще и еще. Она встала, шурша босыми ногами, подошла, сняла трубку.

– Тебя, – удивленно сказала она. – Разве ты давал телефон?

Чувствуя стопами жесткий ворс ковра, он подошел к аппарату.

– Подполковник Калмыков?... Оперативный дежурный... Вас срочно в управление Генштаба...

Глянцевитый блеск аппарата. Она стоит у окна, белая на темном стекле, там, где через месяц на снежном бульваре зажжется разноцветная елка.

Глава вторая

В детстве, во время болезней, его преследовал бред. Открывалось пространство, узкий, уходящий вдаль коридор. Гонимый страхом, он бежит по этому коридору. На сводах багровые отсветы, черные тени. Он стремится вырваться из-под давящих сводов, протиснуться сквозь узкие стены в следующее спасительное пространство. Но оно оказывается продолжением коридора, еще более узкое, душное. В ужасе и тоске он продвигается по бесконечному сужающемуся коридору туда, где ждет его липкое, красное, бесформенное месиво, готовое его поглотить.

Позднее, когда детские болезни кончились, этот бред прекратился, будто заросла и сомкнулась скважина, соединяющая его с источником бреда. Пропало черно-красное месиво, что было подобием магмы, кипящего в преисподней огня. Он не знал, какая за этим скрывалась реальность. Быть может, так проявлялась незабытая младенческая память, связь с утробной материнской жизнью, где склеивалась и лепилась его нерожденная плоть. Тогда, до рождения, в его создаваемое существо вносилось множество черт и признаков: материнские переживания, события окружающего его мира, влияние планет, вспышки солнечных бурь – все вторгалось в его нерожденную личность, застывало в линиях жизни.

В зрелые годы, пытаясь объяснить повороты своей судьбы, свои поступки и действия, он находил эти объяснения в видимых причинах и побуждениях. Но тайно догадывался – за внешними побуждениями кроется глубинная, запечатленная в нем судьба, незримый, оттиснутый в душе отпечаток. Все его концы и начала кроются в черно-красном кипятке, в том тигле, где в ужасе и горении выплавлялось его бытие. Танковая директриса в предгорьях резала ржавые склоны. Боевая машина десантников выносилась из мокрой ложбины, брызгала грязью, хватала гусеницами склон. Двигалась вверх, выталкивая из кормы синеватые дуги копоты. Грохот мотора стихал, волнисто исчезал за горой, становилось тихо и пусто. Но вновь в ложбине начинало звенеть и жужжать. В брызгах воды и грязи, заостренная, похожая на топор, возникла машина. Царапала, резала гору. Сквозь гарь и песок мелькала башня, белый заляпанный номер, торчащий из люка шлем.

Калмыков стоял с командиром первой роты Грязновым. Машины повзводно выстроились у старта, пыхали дымками. Механики-водители выставили из люков смуглые лица. Ротный, в бушлате, с хронометром, хрипло выдыхал: «Вперед!» Солдат на старте взмахивал флагом, и заостренный брусок бээмдэ срывался с места, стремительно врезался в трассу.

– Командир! – Грязнов повернул к Калмыкову толстоскулое, с приплюснутым носом лицо, на котором у глаз белели тонкие, не засвеченные солнцем морщинки. – Отпусти меня на троечку дней домой! Мать письмо прислала – местное начальство, суки, пол-огорода отрезали! Пригнали трактор и прямо по угол смели! Мать, вдова, труженица, горбила на них всю жизнь, а они, суки, вместо «спасибо» тракторами ее давят! На троечку дней отпусти. Слетаю, разберусь с ними, суками!

Грязнов щурил злые глаза, белые морщинки смыкались, и лицо его становилось глиняно-шершавым, жестоким. А потом тяжелые скулы его опадали, вокруг глаз расплзались белые трещинки, и лицо становилось несчастным.

– Куда я тебя отпущу! – ответил Калмыков. – Не сегодня завтра выступаем. На каких огородах тебя искать?

– Дураки, наглецы мы, вот кто! Куда суемся в чужой бардак! У себя порядок навести не умеем, разные суки жить мешают! А мы, мать твою, чужих спасать лезем. Кто бы нас спас!

Хронометр блестел в заскорузлом кулаке Грязнова. Дергалась на белом циферблате стрелка. Боевые машины напряженно застыли на старте. И комбат, вглядываясь в раздраженное лицо ротного, испытал к нему сострадание, благодарность.

Немолодой, нелюбезный, застрявший на должности ротного, без протекций, из «крестьянских сынов», Грязнов тянул свою лямку добросовестно, безотказно. Выполнял нескончаемую черновую работу, превращая случайно собранное множество людей и машин в отлаженную боевую единицу.

– Сделаем дело, вернемся – слетаешь к матери. С дураками разберешься, – сказал Калмыков. – Давай запускай экипаж!

Бээмдэ с башенным номером 32, осторожно стуча гусеницами, подкатила на стартовый рубеж. Из люка, из-под пушки, выглядывало худое лицо механика-водителя в ребристом шлеме. Узкие глаза тревожно, чутко смотрели на офицеров.

– Пройдем по маршруту! – сказал Калмыков. Шлепнул ладонями по броне, ухватился за скобу, взметнулся на машину, устраиваясь в командирском люке. Грязнов повторил его движение, взлет, втиснул ноги в люк водителя, и тот, сжавшись, нырнул в глубину.

– Вперед! – гаркнул ротный, нажимая кнопку хронометра.

Машина взвыла, пошла. Ветер туго надавил на грудь Калмыкова, теплая вонь солярки затуманила прищуренные, шарящие по предгорьям глаза.

Машина урчала, ныряла в ухабы, подрезала склон, виляла кормой у каменных выступов. Сыпался мелкий хрустящий гравий, поднималась известковая пыль, плескала черная, как нефть, грязь. Калмыков слушал вой двигателя, чувствовал под броней узкоплечее тело водителя, его движения, сжатие мускулов, дрожание зрачков, на которое откликалась машина, выкручивалась на поворотах.

Думал, как скажется это наспех, в надрыве приобретенное умение в том близком и грозном походе, уготованном батальону. По каким городам и селениям пройдет боевая машина, вдоль каких кишлаков и дувалов.

И вдруг мимолетно, как о чем-то неправдоподобном, подумал: где-то существует Москва, блестят на зеркальном столике снятые колечки и бусы, он видит, как в зеркале отражаются ее поднятые белые локти, слетающая сорочка, легкие розоватые искры осыпаются с ее поднятых рук.

– Черт, левее бери! – заорал водителю ротный. – Сковырнешься, дурила хренов!

Машина схватила стальными лапами россыпь гравия, соскребла его, съехала вместе с каменной оползью. Вгрызалась в рыхлый, перемолотый солнцем и ветром склон, колотила по нему, пыталась подняться, а ее стягивало, сдвигало вместе с камнепадом, тащило в близкий туманный провал, где глубоко внизу мерцала струйка реки и, как цветные горошины, пасся табун.

– Ты, чумичка, левее бери!.. Не газуй!.. С натягом, с натягом! – орал ротный, нависая над люком, где худое, порывистое тело водителя боролось с рычагами, с мотором, с зыбкой отекавшей горой.

Калмыков пугался близкой пропасти, куда засасывалась боевая машина, представлял, как стальной ребристый короб, перевертываясь, ударяясь о кручу, станет рушиться в туманный провал и они расплющатся вместе с железной оболочкой, превратятся в копотный взрыв. Калмыков чувствовал панику водителя, его неверные ошибочные движения, старался с брони послать ему токи своей воли, укрепить его мускулы, наделить своим зрением, направить его взгляд вверх по склону, где кончалась рыхлая осыпь и выступала гранитная порода.

– Уйди, гад! – Ротный плюхнулся сверху в люк на хрупкие плечи водителя, ломая, сминая, выдавливая его прочь с сиденья. Наложил ручищи на управление, шмякнул тяжелые стопы на педали. Рывками, взнуздывая машину, исторгая из нее рев, дым, стенание, заставил ее медленно, одолевая сползающий склон, выбраться на твердую трассу. Вышвыривая из-под гусениц вихри гравия, звеня металлом, бээмдэ прошла гору, завершила маршрут. Солдат на финише махнул кумачовым флагом.

– Ничего, Хаснутдинов, бывает! – Ротный ободрял механика-водителя, бледного, растерянного, с прокушенной губой. – Там место хреновое, сыпучее! Подработаешь трассу – все будет тип-топ!

Он легонько ударил солдата в плечо своей сильной рукой. Удар был ласкающий, укреплял в солдате пошатнувшуюся волю, уязвленную гордость.

– Все будет тип-топ, Хаснутдинов!

Когда отошли с Калмыковым, сказал:

– Вчера он письмо получил, невеста замуж вышла. Хотел повеситься. Солдаты ремень отняли... Хрен знает куда отправляемся, а без нас сытые коты наших жен, невест трахать будут, матерей из домов повыгоняют!.. Ненавижу этих сук, котов сытых!..

В детстве в Москве он жил в каменном, сумрачном доме с высокими лестницами, с тяжелыми отшлифованными перилами. Когда возвращался домой, каждый раз он испытывал ужас, открывая парадную дверь. У спуска в подвал, куда уводили замусоренные сырые ступени и не достигал свет, копился сырой зеленоватый мрак, присутствовало множество глаз, странных тел, косматых голов, изогнутых клювов и когтей. Мрак был населен чудищами, злыми уродами, отвратительными карликами, которые вылезали навстречу, когда он входил в подъезд. Он кидался вверх, мчался по лестнице что есть мочи, одолевая первый, самый страшный пролет. Успокаивался на втором этаже, радуясь, что и на этот раз избежал гибели, тут же забывшая о пережитом страхе.

С годами этот детский кошмар исчез. Он спускался в подвал, где был лишь мусор, тлен, сырое зловоние и не было таинственных жутких существ, созданных его воображением.

Впоследствии, вспоминая об этом, он объяснил эти видения древней памятью, когда его пращуров жили в чащобах и дебрях, боялись криков в ночи, темных омутов и гнилых коряг, светящихся во тьме головешек. Их мир, населенный злоедами духами, достался ему по наследству, проник в его детские страхи, поселился на время в подвале московского дома.

Вторая рота совершала марш-бросок по пустыне. Солдаты в полной выкладке, бугрясь рюкзаками, подсумками, бежали неровной цепью. Отталкивались подошвами от горячих круч, зарывались в едкую пыль, печатали следы на белой ослепительной глади такыра, проваливались в вонючую грязь.

Бежали, задыхаясь, липкие от пота, с солеными брызгами на лице, в потеках зловонной жижи.

Калмыков бежал рядом с ротным, капитаном Расуловым. Слышал, как тонко, со свистом вылетает воздух из его сиреневых, сжатых трубочкой губ. Лицо капитана, тонкое, смуглое, побледневшие крылья носа, липкие синеватые усы, мокрым лаком проведенные черные брови. Автоматное дуло вниз. Звяк о флягу. Открытая шея и грудь в блестящей росе.

– После таких бросков, говорю, никакая женщина тебе не нужна!.. – Расулов скопил на Калмыкова выпуклый лиловый глаз. – Вот она, твоя женщина, – пустыня, гора и болото!..

Он сказал это на выдохе, с легким посвистом, шмякая башмаками в липкую горячую глину. Несколько капель грязи попали на лицо Калмыкова, обожгли воспаленную кожу.

Капитан был любимцем офицеров, шутником, гитаристом, волокитой. Был лучшим стрелком в батальоне. Сорил деньгами, любил сразу нескольких женщин, имел в Дагестане знатную родню, был вспыльчив и добр. Тяготился изнурительным долгим учением. Стремился в настоящее дело.

– Как козлы скачем!.. Чего тянем?.. Мы спецназ или спортсмены?.. Я в батальон пошел, думал, воевать будем, а мы все играем!..

– Скоро конец игре!.. – Калмыков продыхнул сквозь тугие удары сердца горячее скопление воздуха. – Скоро приказ на погрузку!..

Они бежали рядом, худой, гибкий Расулов, упруго бивший стопой, и уже тяжелеющий Калмыков, чувствующий мускулами притяжение земли, каждый раз толчками ног, бурным вдохом и выдохом одолевающий ее гравитацию.

– Не сегодня завтра на выход!..

Они замедлили бег, пропускали мимо обгонявших солдат, всматривались в набегавшие лица.

Упруго, косолапо, на полусогнутых пробежал казах, маленький, широкоскулый. Капли пота блестели, как оспины. Желтые зубы оскалены. Сквозь них сиплый хрип. Локти работают. Подсумок бьется о ляжку. Зло, по-рысьи взглянул на офицеров, прокосолапил вперед, одолевая подъем.

Следом, выпятив грудь, отведя горбоносую голову на тонкой шее, проскакал узбек. Кадык бурно ходил на горле. Топорщились колючие усики. По бледному сквозь загар лицу была размазана слюна. Из носа выбивался липкий пузырь. Он фыркнул, пробегая, наклонился, сморкнулся, сбросив мокроту на горячий песок.

Прапорщик-туркмен, полнеющий, с округло-сдобным лицом, тряс щеками, екал, как конь. Автомат стволом вниз оттягивал ремень, и он, скосив голову, почесал воспаленную щеку о приклад автомата.

«Мусульманский батальон», собранный им, Калмыковым, по туркестанским полкам и бригадам, заканчивал подготовку в пустыне. Приближалось время похода за мутную рыжую реку, в другую страну. Калмыков всматривался в потные лица солдат, словно старался запомнить.

– Сегодня вечером Роза-татарка к себе приглашает!.. Командир, приходи!.. – Расулов фамильярно приглашал Калмыкова, уравненный с ним этим бегом, потом и грязью. – Вина попьем!.. Новую песню спою!.. Розка на картах нам погадает!.. Она ведь колдунья, Розка!..

Калмыков пробежал по белой, в кристалликах солнца глади такыра, пробуя соль до черной бурлящей воды. Вдруг подумал: она, его женщина, идет по бульвару в неярком московском солнце, среди московской толпы, и мысли ее – не о нем, туманная улыбочка ее – не о нем, не на нем останавливаются ее зеленые, влажные, под золотистыми бровями глаза, не к нему обращен ее легкий смешок, не он идет следом за ее шелковым струящимся платьем в слабом дуновении ее духов, и она знать не знает, что он, потный, грязный, сжимает ствол автомата, проваливается в зловонный сероводородный рассол.

Они пропустили мимо маленького худого таджика. Он задыхался, ковылял, хватался за живот. Тяжелый рюкзак горбился на спине. Автомат валился с плеча. Он жалобно, страдальчески оглянулся на офицеров, что-то проскулил, промычал и рухнул.

Лежал, сучил ногами, корчился. Рюкзак мешал ему перевернуться на спину. Он поджимал к животу колени, хватался за грудь, словно старался ее разодрать.

– Ты что, Амиров? – подскочил к нему капитан. – Перегрелся, что ли? Водички попьешь?

Солдат, бледный, с выпученными глазами, драл себе грудь, и изо рта его сквозь ядовитую зеленую пену высывался синий дрожащий язык.

– погоди, Амиров!.. – поворачивал его лицом к земле капитан. – А ну давай, блевани!

Он засунул в рот солдата два пальца. Солдат, облепившись, отвалился на рюкзак, ловил губами воздух.

Ротный отстегнул у солдата фляжку, отвинтил пробку, ополоснул свои грязные пальцы. Поднес флягу солдату. Тот пил благодарно, беспомощно хлопал глазами, как больной птенец.

– Эй! – Расулов остановил пробежавшего мимо сержанта. – Возьми у Амирова вещмешок и оружие. Топай с ним потихоньку к машинам...

Они снова бежали рядом, комбат и ротный, под мгlistым душным небом пустыни. Ротный говорил на бегу:

– Может, наркотика нажевался... Пена зеленая... А может, сдох на маршруте!.. Сегодня вечером приходи, командир!.. Новую песню спою!..

Это были ослепительные утра, детские его пробуждения, когда первый утренний вздох, первое влечение зрачков к янтарной желтизне за окном, к коврику с шерстяными красными маками, бабушкины шаги у дверей, стук фарфоровых чашек, звон серебряных ложечек порождали в нем беспредельное ликование и счастье. Каждая клеточка его проснувшегося тела росла, выталкивалась в мир чудной счастливой силой, хотела стать всем – морозной синевой, красными маками, воробьиным щебетом в открытой стеклянно дрожащей форточке. Он был абсолютно уверен – мир ждал его пробуждения, торопился награждать бесконечными развлечениями, беспредельной любовью.

Эти ликующие утра длились год или два, были самым драгоценным, что он вынес и запомнил из детства. В эти мгновения он поглощал витающие в мире любовь, красоту, доброту. Копил их в душе на всю остальную жизнь. Он так и не понял, из какого источника они ему доставались, быть может, прямо из янтарного зимнего солнца или из бабушкиных маков, из серебра бабушкиных гладко причесанных волос. Эти детские впечатления, уже истаяв, уже позабытые, все еще охраняли его среди многотрудных будней. Удерживали от жестокости, от несправедливых поступков и мыслей, не давали злу управлять его волей.

Те янтарные утра, его белая рубашка в зайчиках света, его голая, попавшая в луч нога, перламутровые пылинки, летающие в дивном луче.

Третья рота двигалась к стрельбищу. Бэтээры колонной мягко пылили в холмах. Рыжие бугры, опущенные сгоревшими травами, казались притихшими большими животными. Их кожаные шерстяные бока едва заметно дышали.

Калмыков вместе с ротным Барановым сидел на головном бэтээре. Десант облегал броню, нахлобучил брезентовые капюшоны, оцетинился стволами.

За спиной Калмыкова, ухватившись за раструб пулемета, сидел гранатометчик, здоровенный плечистый солдат. На его курносом лице под глазом багровел, синел, начинал отливаться желтизной огромный кровоподтек. Гранатометчик заслонялся от ветра плечом, и глаз его с лопнувшим сосудом дико мерцал под капюшоном.

– Ну что, Дероба, на цепь тебя посадить, как волкодава? – Ротный оглядывался на гранатометчика, объясняя Калмыкову происхождение синяка. – Ушел в самоволку в поселок, с узбеками подрался, кому руку, кому ногу сломал, а себе на рожу печатку добыл, знак качества!.. На цепь тебя посадить, как бульдога? – Ротный ворчал на солдата, а тот виновато морщился, отводил подбитый глаз, чем-то и впрямь напоминал провинившуюся собаку. – Я ему говорю: «Ты, Дероба, лучше гирию качай, или окоп отрой, или кросс пробеги, если из тебя сила прет. А меченый ты мне не нужен! Куда нас с тобой готовят, там меченый не нужен. Там нужно неприметным остаться. А ты вон вывеску на рожу повесил!»

Бэтээр колыхался, нырял в седловины, взлетал на округлые вершины холмов. Осенняя белесо-желтая степь казалась нежной, живой, как чуткое большое животное, кротко взиравшее на людей.

– Не знаю, как другие, командир, а я служить не отказываюсь! – продолжал Баранов, приближая к комбату свое плоское конопатое лицо. – Это Грязнов все ноет: «Куда нас толкают, в какую дыру?» Про какие-то огороды талдычит! А я служить не отказываюсь. Сказали: «Иди!» – и иду. Не для этого погоня надел, чтобы спрашивать. А на огородах пусть бабы работают!

Баранов был посредственным офицером. Его рота занимала последнее место по стрельбе и вождению. То и дело случались ЧП. Вот и теперь на стрельбы не вышли два бэтээра, остались в ремонте, в парке. Калмыков недолюбливал капитана за вечные его разглагольствования, за неспособность наладить дело, но уже не было времени его менять, батальон завершал подго-

товку, и все офицеры, солдаты и прапорщики были незаменимым составом, на который возлагалась задача.

– Чтоб к вечеру закончил ремонт, вывел машины из парка! – резко сказал Калмыков. – Там, куда посылают, запчастей не найдешь! А у Грязнова на ходу все машины!

Калмыков чувствовал бедром прохладу стальной скобы, острую кромку люка. Его мысли, заботы были о батальоне. О моторах, стволах, о показателях стрельбы и вождения. Люди, боевые машины, оружие, продовольствие были готовы к броску. Покинут тренировочный центр, погрузятся на самолеты, двинутся в неизвестность, в азиатскую, наполненную смутой страну. Там, в этой смуте, среди войны и восстания, предстояло действовать батальону. И все невнятной, слабей становилось воспоминание о Москве, о свидании с женщиной. Забывались ее черты, звук ее голоса. Станным, неудобным для губ становилось ее имя.

Та крохотная церковь в переулке среди каменных высоких теснин, куда они зашли ненадолго. Священник, старый, дряхлый, в мятлом золоте, похожий на полуосыпавшуюся новогоднюю елку. Дрожащие огоньки, струйки сладкого дыма. Туманная лампада. Его милая стоит перед высоким светильником, на котором трепещет, отекает воском множество свечей. Поднимает пальцы ко лбу, и он видит, как прозрачно, розово просвечивают ее пальцы. И такая в нем нежность и боль, такое робкое к ней обожание – к ее шепчущим губам, влажным глазам, тонким просвечивающим пальцам.

– Эй, гляди!.. Коза, коза!.. – Баранов привскочил на броне, указывал в степь, тыкал туда черным измазанным пальцем. – Дави ее, водила, дави! – кричал он в люк, толкая ногой водителя.

По холму, словно родившись из мягкой желтизны, отделившись от волнистых шелковых покровов, бежала коза. Легкая, грациозная, складывала под острым углом ноги, выбрасывала вперед стрелчатые копыта. Замирала на мгновение, оглядывалась и снова бежала прочь от железного звука моторов.

Калмыков испугался, увидев козу, ее женственность и хрупкость. Словно она возникла из его воспоминаний, была мгновенным воплощением его нежности и тревоги.

– Гранатометчик!.. Дериба!.. Влупи!.. Сто метров!.. Под обрез!.. Ну, лупи!..

Гранатометчик развернулся могучим телом, вел трубой, подымая литое плечо. Сжимал у прицела кровавый глаз. Ахнуло горячим тугим ударом. С брони метнулся узкий жгут дыма, удаляющаяся пульсирующая головня. И там, где была коза, грохнул плоский зазубренный взрыв, чвакнуло красное пламя. Животное билось на склоне, вытягивая и подгибая ноги, а вокруг нее горела трава.

– А ну, водила, вперед!..

Бэтээр круто пошел на склон. Приблизился к месту взрыва. Коза, с выдранным боком, красно-лиловыми кишками, умирала среди горящей травы. Глаза ее в ужасе и мольбе смотрели на стальной транспортер. Маленький рот был открыт, и в нем дрожал, словно что-то пытался вымолвить, розовый язык. Рожки светились, как две зажженные свечки.

– Добей ее, Дериба!..

Солдаты весело, дружно соскакивали, обступали козу. Гранатометчик, могучий и цепкий, гордый своим метким выстрелом, вытаскивал десантный нож.

– Мясо роте на жратву!.. – командовал капитан. – Ляжки офицерам на шашлык!..

Калмыков отвернулся. Слышал, как хрустит рассекаемая лезвием плоть. Как пахнет горелой травой, паленой шерстью, парной кровью.

В детстве в их доме был письменный стол. Дедовский, тяжелый, со множеством углов, с теплым запахом коричневого старого дерева. Стол был уставлен множеством безделушек, статуэток, отливок из бронзы, подсвечников и чернильниц. Среди этих предметов был шар из

зеленого литого стекла, в которое был запаян то ли разноцветный паук, то ли морской скорпион, – чешуйки красного, желтого, переливы лазури и зелени. Он приближал глаза к тяжелой холодной сфере, и в ней при слабом повороте зрачков возникало свечение, красноватые искры, волшебные лучи и разводы. Он наслаждался этим световым волшебством, с которым навеки связалось ощущение детства, дом, деревянные, с плетеными спинками стулья, продолговатые ворсистые подушки, буфет с узорными дверцами. В этом доме, он помнит, появлялись шумные, говорливые люди, курили, смеялись, расхаживали по комнатам, хватали его, ребенка, сажали себе на колени, тискали, щекотали. Но осталась память в зрачках. Тончайшее сплетение лучей, золотые и красные искры. Если случалось их повторение – в рюмке с красным вином, в фонаре с разноцветными стеклами, на утренней капле росы, – память мгновенно откликалась на этот цвет. Возникало ощущение дома, запах старинного дерева, блюда и вазы в буфете, и кто-то сильный, веселый хватает его на бегу, подбрасывает к потолку, к хрустальным подвескам люстры, и ему страшно и сладко в полете.

Четвертая рота окапывалась, рыла траншеи. Долбила, рыхлила красную землю предгорий. Калмыков с командиром роты капитаном Беляевым укрылся в тень у пыльных гусениц «Шилки», четырехствольной самоходной зенитки.

Комбат сидел на корточках, касался ладонями шершавой теплой почвы, смотрел, как бегут мимо его пальцев черные муравьи, поблескивают на хитине крохотные точки солнца. Ему казалось странным присутствие здесь другой, непознаваемой муравьиной жизни, ничем не связанной с жизнью явившихся в предгорья людей. Она – эта жизнь – не была связана с тяжелой сталью гусениц, зловонием солярки, косноязычным матом солдат, долбивших капониры.

– У меня, командир, взводный рапорт подал, по состоянию здоровья. Просит о переводе в Ташкент. У него там папа – большая шишка. Не хочет с нами на спецзадание. А во второй роте, я знаю, замполит рапорт пишет, тоже боится лететь. У него мохнатая лапа в политуправлении, рапорт ему подпишет. Почуяли, крысы, дыру в днище и бегут!

Калмыков испытывал неприязнь к Беляеву, к его жирному, воспаленному лицу, покрытому капельками сального пота, к редким белесым волосам, сквозь которые розовел влажный череп. Старался не выдать своей неприязни. Смотрел, как цепочкой, огибая его ладонь, бегут муравьи, проносят на головах ртутные капельки света.

– У меня лапы мохнатой нет, мне отступать некуда! Приказали: «Лети!» – и лечу. А эти крысы забегали!

– Правильно рассуждаешь, – рассеянно отозвался Калмыков, думая о крохотных загадочных существах, зачехленных в хрупкие вороненые оболочки. – Нам-то зачем убежать! Не за этим в разведку шли!

– У меня геморрой. Иной раз так обострится, сесть не могу! А тут на броню скачи, маршбросок беги, окоп долби! Хоть бы раз в медсанбат обратился!

– Это здесь у тебя геморрой обостряется. А там все пройдет. Там климат другой, высотные отметки другие. Вернешься домой, начнешь проверяться – ба! Да где же ты, миленький? Нету! Рассосался!

Калмыков не любил Беляева. Видел, что тот боится, хочет увильнуть от задания. Быть может, уже заготовил рапорт. Ротный был ленив, нерадив. В батальоне ходили слухи, что Беляев нечист на руку, вместе с прапорщиком торгует на стороне ротным продовольствием и горячим.

– Я думаю, если за границу уходим, значит, зарплата в валюте? Или чеки, как в Йемене или Анголе? Там ведь не учения – война! Могли бы и чеки платить!

– Зачем тебе чеки, Беляев! Боевой орден получишь. Просверлишь в кителе дырочку.

– Или дырку во лбу!

Калмыков смотрел на бегущих муравьев, словно их создавали на невидимом конвейере, и они, одинаковые, неслись в одну сторону по незримой линии... Калмыков вместе с пушками, бэтээрами, множеством яростных сильных людей был нацелен к другой невидимой цели. Их движения пересекались в туркестанских предгорьях, были внесены в загадочный, недоступный пониманию чертеж.

– Меня в батальон зачисляли, спрашивали: «Будешь служить?» Я сказал – буду! И теперь говорю: «Служить буду!» Пусть другие бегут, как крысы. А мы послужим.

Калмыков затылком слышал слабое излучение брони. Ладонями чувствовал твердую шершавую землю. Следил зрачками за бегом муравьев. И в памяти его возникало, светилось, теплилось недавнее, связанное с Москвой, – чей-то милый и нежный образ. Словно из темных вод поднималось донное свечение, приближалось к поверхности. Посветило и кануло, погасло в темных глубинах.

Из-за кормы орудия выбежал растрепанный, в расстегнутой рубахе солдат. Он задыхался, захлебывался, указывал перепачканными худыми руками:

– Они Хакимова бьют!.. Землю есть заставляют!.. Говорят: «Ешь землю, а то уьем ночью!..»

Калмыков и Беляев выскочили, обогнули тупую, с растворенным нутром корму зенитки. Увидели – на дне капонира, среди брошенных ломов и лопат, стояла кучка солдат. Здоровенный узбек, засучив рукава, хлопал по сильной ладони выпуклой пряжкой ремня. Другие солдаты с ремнями в руках окружили щуплого, стоящего на коленях солдата. Тот плакал, затравленно озирался, водил голыми худыми лопатками. На бледной коже багровело два жирных рубца. Лицо солдата дрожало, губы бессловесно шевелились. Он заслонялся от своих мучителей острыми приподнятыми локтями.

– Ешь землю! – хрипел над ним узбек. – Ешь, падла! Забью, как суку вонючую!

Солдатик схватил трясущимися руками горсть красноватой земли. Рыдая, вода позвонками, ожидая ударов, стал жевать землю, давился, выплевывал, снова жевал.

– Отставить! – Калмыков с воющим, сорвавшимся на клекот криком прыгнул в капонир, расшвырял стоящих солдат. – Отставить, вам говорю!

Он вырвал у узбека ремень, с силой толкнул его крепкое, упругое тело:

– Под трибунал пойдешь!.. В штрафбат!..

– А мы и так в штрафбате!.. – смело, не пугаясь, ответил узбек. – Нас люди смертниками называют, товарищ подполковник! Нам все равно погибать!

– Заткнись, Шарипов! – Беляев расшвыривал в стороны полуголых солдат. – Что происходит?

– Он, товарищ капитан, сачкует! – объяснил ротному маленький узкоглазый крепыш, весело и жестоко поглядывая на худосочное, в слезах, в красноватой глине лицо солдата. – Ишачить на него не хотим! С ним жить в казарме нельзя! Он ночью ссыт под себя, воняет, как собака!

– Нюхатик хренов! – оборвал его ротный. – Соляркой нос натри и нюхай!.. А ты, Хакимов, – обратился капитан к плачущему солдатику, – почему позволяешь над собой издеваться? Почему не придешь к замполиту?

Хакимов сгорбился, размазывал по губам земляную жижу, беззвучно плакал.

Калмыков испытывал к нему сложное, из брезгливости и сострадания, чувство. Солдаты, собранные в батальон, обученные стрелять и водить машины, метать ножи и убивать ударом в сплетение, сами были беззащитны перед жестокими, устремленными на них силами. Злые и добрые, трусливые и храбрые, все они были нанизаны на невидимое острие, повернувшее их всех в одну сторону, в близкое грозное будущее.

– Капитан, – обратился он к Беляеву. – Если вы с замполитом не в силах навести в роте порядок, я направлю к вам особиста. Я не могу допустить разгул уголовщины в части, подготовленной к спецзаданию. Тронешь пальцем, – повернулся он к узбеку, – пойдешь за решетку!

Он выпрыгнул из капонира. В это время заработал, загрохотал двигатель «Шилки». Зенитка окуталась синим дымом, чавкнула гусеницами, пошла. Стальные треки перепахали муравьиную тропу, превратили в ничто крохотные капельки жизни. Четырехствольная установка, пятясь кормой, стала погружаться в капонир. Солдаты с лопатами и ломом смотрели на самоходку.

Глава третья

Он потерял отца в раннем детстве, почти не помнил его. Его воспитывали мама и бабушка. Их любимые лица, голоса, постоянное присутствие возле него и были его детством. Бабушка и мама были рядом. От них исходили постоянные нежность, забота, нравоучения. Они возвращали, воздействовали на него извне.

Отец же был внутри, в душе. Он не помнил его лица, не знал его поступков. Внешний мир был без отца, но внутренний, и чем дальше, тем больше, был наполнен отцом. Отец присутствовал как вторая невидимая сущность, страдающая, любящая, не умевшая себя проявить иначе чем его детскими переживаниями. Он ушел из явной жизни и как бы спрятался в нем, в сыне. Сын стал прибежищем отцовской души, коконом, куда укрылся отец после смерти. Возрастая с каждым годом, догоняя отца, равняясь с ним в возрасте, он тайно продлевал его жизнь, увлекал вместе с собой в будущее.

Единственное из младенчества воспоминание об отце. Кажется, они плыли по Волге. Ощущение близкой огромной воды. Сырые глянцевиные деревья на песчаной косе. Красные жуки на листьях. Постоянное близкое присутствие отца, его тепло, дыхание рядом с холодной огромной рекой.

Спустя много лет он был на Волге, на сырых песчаных отмелях, где росли глянцевиные ивы. И на узких излоданных листьях было множество красных жуков. Там, у водяного разлива, он вдруг остро, больно почувствовал присутствие отца. Слово он, находящийся в плену сыновнего духа и тела, узнал это место, рванулся наружу. Не смог пробиться в свет, в облака, в разлив реки. Остался в сумраке сыновнего сознания и памяти.

Вечером, когда роты составили в пирамиды оружие, загнали в парк технику, отгрохотали по лестницам и коридорам казармы и утихли под сумрачным светом решетчатого ночника, офицеры, отмывшись от пыли и копоти, в чистых рубахах, собрались у гарнизонной красавицы Розы, в ее уютной, благоухающей комнатке, где пестрели салфетки и коврики, теснились статуэтки и вазочки, стол был накрыт, на лазоревом блюде бугрились виноград и спелые груши, розовела в коросте перца и соли бастурма, мокро блестели стаканы, и Грязнов, командир первой роты, морщась от горечи, выплескивал из стакана недопитые капли водки, отрезал узбекским ножом розово-прозрачный лепесток бастурмы, жевал крепкими, желтеющими сквозь усы зубами.

– Не стесняйтесь, ешьте! – угощала Роза, подвигая ближе дощечку с бастурмой. – Appetit нагуляли в пустыне!

Она облизывала быстрым языком напомаженные красные губы. Белое татарское лицо ее было нарумянено. На открытой шее блестели яркие синие бусы. Пальцы были в кольцах, на запястьях позвякивали серебряные браслеты, и вся она была подвижная, гибкая, смеющаяся. Смотрела на гостей влажными, жадными глазами. Каждый из офицеров бывал здесь порознь, тайно. Каждому были знакомы запах духов и пудры, шелковая на постели накидка. Роза смотрела, как едят и пьют офицеры, и ее зеленые глаза шурились и смеялись.

– Роза, цветочек ты наш лазоревый. – Командир второй роты Расулов, смуглый, черноусый, смотрел на ее голую ногу, на гибкие пальцы, качавшие маленькую тапочку, на вырез платья, где на хрупкой ключице голубели стекляшки бус, на румяную щеку, у которой качалась золотая сережка, – словно все это целовал, не стесняясь, смело и жадно. Он держал на коленях гитару. Его пальцы рассеянно шарили по струнам, извлекали слабые рокоты. А потом рванули их, словно швырнули с шумом и грохотом. И он запел одну из своих бесчисленных песен, похожих одна на другую, где были спецназ, прыжки с парашютом, ночлеги во льдах и песках и, конечно, одинокая, тоскующая без любимого женщина.

Другие два ротных, Баранов и Беляев, чокнулись, выпили, и комбат видел, как потекла по губам Баранова тонкая быстрая струйка.

Мы бросались в огонь не раз,
Спецназ!
Мы взрывали в ночи фугас,
Спецназ!
А потом мы глотали спирт,
Мой усталый товарищ спит...

Песня была наивная, хвастливая, неблагозвучная. Она будет скоро забыта, и ее сменит другая, такая же шумливая и легковесная. Но Калмыкову нравились ее шум, недолговечность, ее сотворенность специально для их офицерского застолья, для краткой офицерской пирушки. Остальные чувствовали то же, внимали песне. Грязнов держал на грубой ладони узорный узбекский нож с перламутровыми инкрустациями. Баранов заскорузлыми пальцами нежно полировал край керамического лазурного блюда. Беляев держал толстыми пальцами с обломанными ногтями прозрачную виноградину, и она светилась, как огонек. Роза смотрела на Расулова, на его близкий блестящий лоб, на синеватые усы, и ее быстрый влажный язык облизывал красные губы.

Тот прыжок на полярный берег, когда отлетали в блеске винты самолетов и они качались в свистящей голубой пустоте. Земля под парашютом медленно кружилась, словно на ней сворачивался огромный розовый рулет, и он вдруг понял, что это движется стадо оленей.

Приземление в снег, в студеную глубину, катышки крови на порезанных щеках. Они шли на лыжах по тундре, по выпуклой равнине, к каменным лбам побережья, где в соленом рассоле, в незамерзающем фьорде укрылись черные корпуса подводных лодок. Ночью мохнатые звезды казались замороженными в синий камень неба. В рыбацкой избушке они грелись у печки, и на притолоке качалась сухая шкурка росомахи. Под утро, прячась в поземке, проползли под колючей проволокой. Завалили у пирсов караульных, заталкивая кляпы в их хрипящие рты. Он бежал вдоль черного параболоида подводной лодки, прыгал на ее прорезиненный борт, приклеивал к оболочке пластиковый заряд, и на черной нефтяной воде плясал едкий ртутный огонь.

Калмыков слушал песню, и опять было больно и сладко от несовпадения внешней, видимой жизни, где пирушки, стрельбы, вождения танков, подготовка к тревожному, их поджидавшему будущему, – несовпадения с таинственным, невнятным существованием души, где оставалось наивное ожидание чуда, робкая вера в совершенство, надежда, что когда-нибудь ему откроется истина – зачем он родился и жил.

– Роза, цветочек ты наш лазоревый! – целовал ее пальцы Расулов, пробегал губами по кольцам, по серебряным браслетам.

Грязнов кинул нож на стол, и по его скуластому конопатому лицу пробежала судорога. Должно быть, он вспомнил мать, ее обидчиков, пустые, с сухой ботвой огорода.

– Бобики партийные, чтоб они сдохли! Засели в каждой подворотне и брешут! Ладно бы только лаяли, а то кусают! Меня замполит вчера покусал. Ах ты, говорю, бобик партийный! Ты что на командира скалишься!

– Что зря языком трепать! Не люблю! – произнес благоразумный Баранов. – Особистов нет среди нас, а трепать языком не люблю!

– Вот и хреново, что партийные бобики могут тебе ни за что всю жизнь изгадить. Жуков их не любил, и я не люблю! Ну куда, к примеру, нас гонят? В какую дыру? У самих у нас дома

бардак! Поля зарастают. Что ни начальник, то сволочь! Я бы здесь сперва порядок навел, из кабинетов кое-кого повыкинул, а уж потом других спасать!

– Не наше дело думать, куда и зачем! – строго сказал Баранов. – Ты вообще, я заметил, чуть выпьешь, хреновину мелешь. Давай-ка лучше о бабах!

– Я партийных холоуев не люблю! Поди настучи на меня особисту! Он и так, как сова, ходит, глазищи на меня таращит. Может, уже настучал?

– Отставить.

Калмыков спокойно, негромко прекратил назревавшую ссору, вырвавшую из усталости, раздражения, утомительного ожидания. Офицеры, собранные в батальоне, еще до конца не сплотились, не сложились в батальонное братство, сложно уживались друг с другом.

– Расулов, еще про спецназ!

Тот охотно кивнул, провел ладонью по вороним усам, схватил в щепоть струны. Вслушивался в пустую желтизну гитары. Впрыснул, вбрызнул в нее грохочущий звон и рокот.

Пусть осыпается в саду вишневом ветка,
И у подруги тихая слеза.
Уходит в ночь глубокая разведка...

Их зимний бросок по сумрачным перелескам в стороне от белорусских хуторов и проселков. Ночлеги в мерзлых стожках под туманной стылой луной. В маскхалатах, зарываясь в сугроб, ждали у снежной обочины. Трасса, пустая, укатанная, с ледяными зубцами протекторов. Мигает лиловая вспышка, проносится дорожный патруль. Едко светя прожекторами, идут бэтээры охраны, крутят по сторонам пулеметами. Следом в туманных огнях, угрюмо и мощно, наполняя дорогу непомерной громадой и тяжестью, идет колонна ракет. Огромные ребристые коконы, длинные тупые фургоны. В ночи, по пустынным дорогам, мобильный ракетный комплекс меняет позицию. Группа спецназа рывком, огибая сугробы, бросается к тягачам, захватывает бэтээры охраны, лепит заряды к ящикам с электроникой, к горячим урчащим моторам, к длинным туловам зачехленных ракет.

Калмыков слушал песню, бесхитростные, наобум сцепленные слова. Продолжал чувствовать загадочную двухслойность бытия. В верхнем слое он – командир спецназа, должен подрыывать колодцы с системой связи, проникать в казематы и бункеры, совершать диверсии на ракетных шахтах и базах подводных лодок. А в другом, глубинном слое слабо и нежно горели огоньки на зеленых веточках елки, серебрились паутинки, покачивался дутый стеклянный петух, и мама, невидимая за свечой, вешала на елку золоченый грецкий орех.

– Надоело ждать! – Расулов отшвырнул на диван гитару, и она жалобно звякнула. – Долго здесь киснуть? Или воевать, или пьянствовать! Командир нас собрал не жир сгонять на барханах, а воевать! В Кабул так в Кабул! А нет – на курорт вино пить!

– Куда торопиться, и здесь неплохо! – Беляев высасывал из виноградины зеленый сок, смотрел на Розу.

Та отщипнула от кисти янтарную ягодину, выпила мякоть. Казалось, они тянулись друг к другу губами, отекающими соком и сладостью.

– Пусть бы они забыли о нас! Эти, в Кабуле, сами между собой разберутся. Зачем нам соваться?

– Дурила, сегодня в мире никто без Союза разобраться не может! Сегодня без Союза ни одно дело в мире не делается! Я рапорт писал в Генштаб – пошлите в Анголу! Пошлите в Мозамбик, в Эфиопию! Отказали. Теперь в Кабул зарядили! Если «да» – вперед, по машинам! Если «нет» – на курорт вино пить!

– А мне здесь нравится, – лениво возражал Беляев. – Шею сломать успеем! Здесь дыни, виноград! Роза на картах гадает. Роза, миленькая, погадай нам на картах, какая кому судьба!

– Да ты вообще, говорят, слинять собрался! – Расулов, ревнуя, блеснул на него желтоватыми белками. – Мне военврач говорил, ты анализы сдаешь, на климат жалуешься! Что-то у тебя в кишках обострилось! Медвежья болезнь называется!

– Ну ты, гитарист! – привскочил оскорбленный Беляев, выплевывая пустую виноградную шкурку. – Ты свои кретинские песни бренчи и помалкивай! А то не все тебя выносить могут с твоей гитарой!

– Отставить! – сказал Калмыков, гася тлеющую, готовую вспыхнуть ссору.

– Все вы раздраженные, злые, ждаты устали! Вслушиваетесь, всматриваетесь, что там у вас впереди! Карты знают, что впереди. Погадаю вам на дорожку на картах! – Роза поднялась, гибкая в поясе, качая бусами, подошла к туалетному столику, извлекла из ящичка колоду карт. Вернулась, улыбаясь, облизывая губки розовым язычком. – Карты знают судьбу!

– Карты врут! – недовольно бурчал Грязнов. – Заполиты врут, карты врут, все врут!

– Карты – правда! Роза – правда! Любовь – правда! – Расулов перехватил ее руку, сжимавшую колоду карт, быстро, жадно поцеловал в запястье. – Войны нет, вино есть! Вина нет, любовь есть! Любви нет, ничего нет!

Роза кивала, мерцала зелеными глазами. Сыпала на стол среди стаканов и виноградных косточек глянцевиные карты. Мелькали валеты, короли, дамы, пестрая, как лепестки, красная и черная масть. Она шелестела картами, тасовала колоду, снова сыпала, роняла на стол. Калмыков слышал шорох карт, дуновение воздуха, поднятое разноцветным ворохом. И ему казалось – в мелькании ее тонких, с лакированными ноготками пальцев мечется бесплотный крохотный вихрь, в котором незримо присутствует их общая доля, их будущее, готовое развернуться для каждого отдельной, данной богом судьбой.

– Будет у вас скоро дальняя дорога! – говорила гадалка, рассыпая перед ними длинную череду карт, где мешались шестерки, девятки, красный бубновый туз. Мокрый стакан бросал на пикового валета пучок стеклянных лучей. – Будет у вас дорога! – Выстирала она картами путь, по которому пройдет батальон, продавливая ребристыми скатами, колючими гусеницами шелковые плащи валетов, бутафорский доспех короля. – И все вы по ней пойдете!

Роза перемещала карты, высыпала веером новую лакированную гроздь, где лежали среди семерок и девяток два черно-красных туза.

– И будет у вас большой дом, нарядный богатый дворец! – Она щелкала по картам маленькими лакированными ногтями.

Калмыков чувствовал, как ровно разгорается свет под абажуром, как светлеет в его голове от хмеля, от слов гадалки, от глянцевого разноцветия карт. Бесплотный крохотный вихрь выталкивал из себя их неосуществленное будущее, и он, Калмыков, был волен не пустить это будущее на свободу или вызвать, выхватить, превратить в муку, в страдание, в смерть.

– Все вы войдете в этот дворец, но не каждый выйдет! – Роза повернулась к Грязнову, держа перед ним на фарфоровых ладонях колоду. – Ты каким войдешь, таким и выйдешь! – говорила она, сбрасывая перед Грязновым несколько карт, где дама с высокой прической куталась в золотистую шаль. – А ты, – повернулась она к Расулову, улыбающемуся сквозь темные усы, – ты из дома выйдешь, но там оставишь самое для тебя дорогое! – Она бросила перед ним несколько гляцевых пластин, где другая дама закрывала пышную грудь резным веером. – А ты, – она потянулась к Беляеву, синие бусы на шее отпали, звякнули о стакан. Было видно в вырез платья, как просторно среди легкой материи ее маленьким острым грудям. – Ты войдешь во дворец и там оставишь, что тебе самому не нужно!

Беляев недоверчиво улыбался, заглядывая в глубину ее платья, где в золотистой тени светились продолговатые груди.

– А ты... А ты, – Роза уронила перед Барановым череду карт, среди которых одиноко и жарко горела шестерка червей, – ты в дом войдешь, а из дома не выйдешь!

Она улыбалась ему, награждала его судьбой, и он благодарно ее принимал. Обнял ее гибкую талию, прижался головой к близкому острому плечу.

– А вам погадать? – обратилась Роза к Калмыкову, поднося к нему поредевшую колоду, где среди черно-красных значков вращался крохотный прозрачный волчок. – Командиру могу погадать!

Свет разгорался. На блюде светились плоды. Влажно, хрупко сверкали грани стаканов. Лица офицеров были в прозрачном сиянии. Спали в казармах солдаты. В парке остывали боевые машины. В пустыне под синей луной отпечатался след транспортера. В руке у гадалки круглился крохотный бестелесный клубок, сгусток сверхплотных энергий.

Калмыков поднялся:

– Говорят, от судьбы не уйдешь, но лучше ее не знать! Досиживайте без меня! Но чтоб завтра голова не болела!.. Утром все роты – на плац!

Он собирался уйти, осторожным движением отстраняя Розу, заступившую ему путь.

– Товарищ подполковник, тогда и остальных забирайте! Кого-нибудь одного оставьте! – капризно сказала она.

– Роза, как в прошлый раз! – сказал Расулов, хватая узбекский нож. – Вешай мишень на стену! Кто поразит мишень, тот у тебя и останется!

Роза оглядела всех долгим ленивым взглядом, выбирая, отвергая и опять приближая к себе поочередно каждого из четырех офицеров.

– Так и будет. Кто мишень поразит, тот останется!

Она подошла к туалетному столику, достала чистый платок. Помадой ярко, сочно покрасила губы. Прижалась губами к платку, оставила на нем красочный, похожий на сердечко отпечаток. Булавками пришила к двери матерчатый белый квадрат.

Расулов вскочил, сильным рывком метнул вперед нож. Стальное лезвие прорубило ткань в красной отметке, погрузилось со стуком в дерево.

Калмыков уходил, слышал возбужденные голоса офицеров, тонкий смех Розы.

Запомнилась давняя новогодняя елка, где-то у письменного стола, ветка заслонила бронзовые статуэтки, чернильницы, зеленоватую глыбу стекла с замороженным морским пауком. Колючий пышный ворох, в котором горят розовые свечи, колышутся хрупкие серебряные шары, мерцает рассыпанная пыльца. И такое волшебство, такое диво, так хочется дотянуться до раскрашенного стеклянного петуха, поймать на ладонь быструю блестящую капельку. И где-то рядом с этим дивом – мама, ее нежность, ее восторг.

Раннее пробуждение в зимних утренних сумерках. Сквозь дрему – счастливая мысль: его день рождения, его праздник, где-то близко, рядом – подарки. Вот они разложены на стульчике в изголовье, новые восхитительные предметы. Длинная лакированная дудка. В раскрытой коробке глянцевиные, чуть подсвеченные кубики. Стеклянная банка с тусклым отражением окна и стремительными длинными проблесками – рыбки. Хочется их рассмотреть и хочется еще поспать, понежиться в это зимнее, темно-синее утро. Засыпая, счастливо улыбаясь, он знает – поблизости, за стульчиком с подарками – мама, ее тихая поступь, милая, нежная усмешка.

Он помнил маму молодую, дни, когда болел, лежал на ее широкой кровати, страдая жаром, беззащитный, слабый, ждал ее появления. Она возвращалась с работы, торопилась из прихожей прямо к нему, не снимая пальто. Ее порозовевшее от мороза лицо, лисий мех воротника, в котором искрился нерастаявший снег, запах холода, улицы, тонких духов, который она вносила в его душную комнату.

Или когда болела она сама, лежа на той же кровати с темными гнутыми спинками, в белой рубахе, в пестрой косынке, с бледным темноглазым лицом. Он усаживался в сторонке на низенькой табуреточке, и она читала ему вслух Пушкина, своего любимого «Медного всад-

ника», прерывающимся слабым голосом. Требовала, чтобы он слушал, желала, чтобы и он полюбил.

Он запомнил ее бледное лицо под пестрой косынкой, с которым соединились видения каменных невых дворцов, туманных вод с золотым, бегущим на волнах отражением.

Спустя много лет он понял: с мамой, с ее книгами, рассказами, с несчастными совместными путешествиями связано все, что он успел узнать о родной истории и культуре. Кусковский дворец с прозрачным осенним парком. Старая полуразрушенная церковь в Раздорах, полная свежего зеленого сена. «Война и мир» с описанием Аустерлицкого сражения. Позднее, если ему случалось вновь оказаться в какой-нибудь старинной усадьбе, или в обветшалой деревенской церкви, или открыть Пушкина или Чехова, он сразу чувствовал присутствие мамы, слышал ее голос, видел ее лицо.

К старости, когда она одряхла, подолгу сидела в неопрятном халатике, в сморщенных чулках и стоптанных тапочках, он, наблюдая за ней, изумлялся: неужели из этих бессильных, с голубоватыми венами рук, из этих полузакрытых потухших глаз, из ее плоти, костей, дыхания вышел он сам, его дыхание, мускулы, мысли. Ее медленно от него уносило, медленно уводило в туманную, тусклую бесконечность, и он не мог ее удержать, не мог защитить. Она, которая всю жизнь его защищала, теперь сама нуждалась в защите, а он в своей силе и крепости не мог ее защитить. Смотрел, как она дремала, положив на колени бессильные руки, и был готов разрыдаться.

Калмыков вернулся к себе, в свою запущенную холостяцкую комнату с ржавым пятном на потолке, с лысыми подоконниками, с чашкой чайной заварки, покрытой радужной пленкой. На гвоздях, на стульях, на спинке кровати висели ремни, скомканные полевые одежды, поблекшие на солончаках и барханах. Он сбросил ботинки, лег, запихнув под голову подушку в несвежей наволочке. На стене, в свете лампы, была приклеена карта Кабула, похожая на рифленый оттиск, будто кто-то в домотканой одежде прилег на мягкую пыль, оставил на ней волокнистый клетчатый отпечаток.

Калмыков лежал, изучая карту, погружался в чешуйчатый нарисованный город. Стремился проникнуть в плоскость листа, войти в глубину отпечатка. В скопищах глинобитных теснин, в кривых закоулках и улочках цокали ишаки, сновали бородатые люди, голубели дымы очагов. Город звенел и клубился в медных вечерних лучах. Мерцал в небесах лазурный столп минарета.

Он научился различать в этом месиве кварталы и линии улиц – Майванд, Дарульамман, район Шари-Нау, пригород Хайр-Хана. Он знал, где Дворец Революции и крепость Баллахиссар. Как проехать от аэропорта до центра, к министерствам обороны и связи. Где посольства, где полки гарнизона, где старый кабульский базар.

Он парил над огромным городом, разглядывая его сквозь туманную линзу неба, снижаясь в его желтизну. Бродил по его лабиринтам, укрывшись под чалмой и накидкой. Ноздри его щекотал запах красного перца. Качались у самых глаз чаши латунных весов. Жгучий недобрый зрачок следил за ним из толпы.

Он смотрел на карту Кабула, пытаясь ее разгадать, смешивался с его глиной и дымом, с лазурной чешуей изразцов.

Полгода назад его вызвали в управление разведки. Генерал поставил задачу: сформировать батальон для скорой отправки в Кабул. Там, в Кабуле, где уже начинались волнения, надлежало взять под защиту афганского вождя Тараки. Оппозиция бралась за оружие, в партии углублялся раскол. Батальон спецназа кружился в пустыне, стрелял и водил машины. В комнате для политзанятий висел портрет Тараки. Солдатам, утомленным на стрельбище, читали стихи президента.

Батальон, готовый к погрузке, выстраивался у взлетного поля. Самолеты, опустив аппарели, туманились в мелком дожде, когда вдруг стало известно, что в Кабуле убит Тараки. Смут-

ные невнятные слухи об удушении. Роты развели по казармам. В комнате для политзанятий сняли портрет со стены. Больше не читали стихов. Но усилили стрельбу и вождение. Там, где прежде висел Тараки, появился новый портрет – смуглолицый властитель Амин. Черноглазый и грозный, сверкая белками, он зорко смотрел на солдат. Офицер из политотдела заглядывал в синий блокнотик – зачитывал его биографию, заслуги перед народом и партией.

Калмыков перед картой Кабула старался представить: в этот час, в этот миг в азиатской далекой столице существует Амин. Не знает о нем, Калмыкове, но его, Калмыкова, жизнь неявно, загадочно связана с жизнью Амина.

Его мысли были о запасах горючего. О продовольствии и боекомплекте. О питьевой кабульской воде, сулившей расстройство желудка. О дровах и солярке, которыми надлежало согреваться в Кабуле. О врачах и лекарствах. О письмах, что станут писать солдаты. О батальонной казне. Он думал об огромном хозяйстве покидавшего страну батальона, тревожился за людей и оружие.

И вдруг несвоевременная и большая мысль: зачем? Зачем он, Калмыков, уложен на scomканное несвежее ложе, среди разбросанных ремней и одежд, готов по чужому приказу вскочить и бежать, заряжать оружие, рисковать, скрывать свои мысли, расходовать отпущенные ему в жизни дни и минуты. Ведь так дивно блестела трава, сверкало ведро у колодца, и он, мальчик, отодвинул калитку, обжигаясь о разноцветные капли, побежал по росе, и мама, отпуская его, смотрела, как он бежит, как туманится под его голыми пятками дымная синева, и с забора, с влажного теса, вспорхнул утренний черно-стеклянный скворец.

Калмыков вглядывался в растопыренную пятерню. Железная пудра въелась в мозоли. Черная кромка земли и ружейного масла залегла под ногтями. Отчужденно, брезгливо он смотрел на свои пальцы, на их форму, на чувствительные щупальца, приспособленные для хватаний, для медленного сдавливания спускового крючка, для сжатия баранки бэтээра. Рука казалась ему отвратительной, навязанной извне, включающей его в унижительное, вынужденное земное бытие, где он борется за существование, за хлеб, за женщин, выполняя чью-то вмененную волю.

Столь же отвратительными, вынужденными казались ему его ноги, живот, пах с непрерывной дремлющей похотью, глазницы с влажными слизистыми оболочками.

Он был весь сделан, сконструирован и задуман. Включал в себя множество приспособлений и инструментов. И в эту хватающую, скачущую, обоняющую и зрящую плоть было заключено его бессмертное «я», истинная безымянная сущность. Когда он изотрется о пески и барханы, избыется о броню и орудия, сносит свою оболочку, израсходует брENNую плоть, его «я», как слабое дуновение, вылетит на свободу, сольется с чистой живой пустотой.

Так чувствовал он свою несвободу. Воля, которой он был подчинен, была не волей генералов, не властью политиков, а чьей-то высшей недоступной властью, навязавшей ему способ жизни.

Он отстранил пятерню от глаз, внутренним усилием попытался освободиться от этой гнетущей воли. Стал проталкивать свое «я» сквозь арматуру ребер, пузыри легких, каркас костей. И вдруг почувствовал, как в области горла возникла резкая боль, стала спускаться в бронхи, проникать в сердце, твердой судорогой наполнила желудок и исчезла, оставив по себе ужас смерти.

Он не мог понять, что это было. То ли тромб оторвался и прошел по сосудам тела. То ли плоть ощутила в себе путь будущей, еще не отлитой пули. То ли частица из космоса пронзила мышцы и вылетела в мироздание.

Зазвонил телефон. Он протянул вяло руку, извлекая трубку из пластмассового гнезда.

– Слушаю... Подполковник Калмыков...

– Товарищ подполковник, вас вызывают к командиру... В центр боевого управления...

«Пора, – думал Калмыков, одеваясь, шнуруя ботинки. – Вот и приказ к выступлению».

Глава четвертая

Его детская память сохранила давнишнее детское ощущение. День первых заморозков, серый, холодный. На клумбе среди мерзлых комков торчат черные стебли, бывшие недавно душистыми астрами, табаками, геранями. Кирпичная стена выветрена, выжжена первым бесснежным морозом. Ветер проникает под тонкое пальто. В остановившихся детских зрачках изображение двора, прохожий с синеватым лицом, лужица с сизым льдом, высокое окно с бабушкиной слабо белеющей головой. И такая печаль, необъяснимая боль, чувство недолговечного... Он знает, что неизбежно расставание с серым холодным небом, с красной кирпичной стеной, с мамой и бабушкой, что смотрят на него из окна, не ведают о его тоске.

Над взлетным полем гасла голубая заря. Последние отсветы отливала на фюзеляжах, на висящих лопастях, на ромбах брони. Батальон грузился с двух полос, отдельно люди и техника. Калмыков с генералами из разведуправления смотрел, как осторожно, мигая хвостовыми рубинами, вползает в самолет боевая машина. Чвакает, впивается траками в днище, погружается в сумрачно-озаренное нутро самолета. И там на монорельсе качается крюк, светится синий огонь, механик в комбинезоне набрасывает трос на машину.

– Сразу же по прибытии вас встретят наши «соседи». К самолету прибудет полковник Татьянушкин, – говорил генерал. – Поступите в его распоряжение. Деньги возьмете в посольстве. Связь через атташе. Остальное на месте!

Вторая боевая машина медленно, задрвав нос, въезжала на аппаратель, выбрасывала из кормы дым, мигала хвостовыми огнями. Киль самолета колыхался от тяжести, механик пятился, заманивал урчащую машину в глубь фюзеляжа, и она вставала впритык к предыдущей, желтый крюк погрузчика катился по монорельсу.

– По афганской линии взаимодействуйте с начальником президентской охраны, – говорил генерал. – По нашей линии – с главным военным советником. Ну и, конечно, с «соседями».

Он поворачивал свое горбоносое лобастое лицо к третьей вползающей машине. Последний синеватый отсвет зари мокрым мазком ложился на выпуклый лоб генерала.

Роты с оружием, вещмешками стояли у полосы. Транспортные отсеки, подставили свои сумрачные освещенные недра. Дул ветер. Запах железа, горячего, человеческого пота подхватывался огромным прохладным дыханием, уносился во тьму.

– Товарищ подполковник, – начальник штаба, отделившись от шеренги солдат, козырнул Калмыкову, – женщины прощаться пришли. Разрешите офицерам проститься!

В стороне на траве стояли женщины – жены, подруги, любовницы. Офицеры и прапорщики вышли из строя, смешались с ними. В сумраке раздавался смех, тихий плач, негромкая музыка. Обнимались, слушали маленький звенящий транзистор. Женщины из сумок доставали бутылки с вином, стаканы, виноградные кисти. Чокались, целовались. Кто-то негромко запел под гитару. Калмыков в темноте разглядел усатое лицо Расулова, синеватый блик на гитаре. Роза в цветастом платье держала пиалу с вином.

– Товарищ подполковник, – она поднесла Калмыкову пиалу, – выпейте на дорогу! Чтоб вам поскорее вернуться! А мы вас тут будем ждать!

Он принял пиалу, медленно пил терпкое вино, глядя на тяжелые туши самолетов, на шевелящиеся шеренги людей, на Розу, обнимавшую Расулова. Тот положил на траву гитару, обнимал ее, целовал плечо, шею, заплаканное лицо.

Калмыков пил вино, чувствовал, как налетает ночной ветер, захватывает в свое дуновение самолеты, взлетное поле, целующихся мужчин и женщин. Ветер рождался в отдаленных пространствах вселенной, падал на землю, выдувал из нее тепло, подхватывал людские души и судьбы, уносил в темную беспредельность.

Платье Розы трепетало в потоках ветра. Волосы Расулова смешались с ее волосами. Темный, в гаснущем небе, вздымался киль самолета. Калмыков чувствовал, что все они находятся во власти безымянной и могучей воли, толкающей их в неизвестность.

– Поротно!.. На погрузку!.. На борт!.. Шагом марш!.. – раздался ослабленный ветром голос начальника штаба.

Солдаты похватили мешки и оружие, колыхнулись, затопотали, пошли. Застучали по металлу солдатские башмаки.

В сумрачном пространстве фюзеляжа на железных скамейках сидели солдаты. Под тусклыми лампами чуть виднелись их лица, их стиснутые тела, автоматы. Бортинженер пробежал вдоль рядов и скрылся в кабине. Что-то заурчало, заныло, железо запело. В круглом иллюминаторе замерцал красный габаритный огонь. Взревел, со свистом закрутился пропеллер. Машина качнулась, пошла. И все это время Калмыков ощущал, как вдоль фюзеляжа, по оси самолета, проходит незримый вектор, сквозь ряды сидящих солдат, сквозь его, Калмыкова, дыхание, и все они устремлены в одну сторону – в свое будущее, в неизвестность.

В детстве он часто смотрел в бабушкин театральный бинокль, изящный, с перламутровыми инкрустациями. Выдвигал колесиками маленькие, с темными линзами окуляры, и мир стремительно удалялся, уменьшался, отбрасывался, словно от него уносили коричневый буфет с синими чашками, зеркало в старинной раме, мамину акварель на стене. Все подхватывалось невидимой силой, уносилось вдаль. И от этого – головокружение, почти обморок.

Позднее, когда в училище изучал математику, бесконечно малые величины, он пытался вообразить бесконечность, представить результат непрерывного уменьшения, которому нет предела, которое уводит мысль в сладостно-жуткое безумие. Словно в тончайший прокол истекает живая жизнь, утончается и, перед тем как исчезнуть, превращается в громадный, во все мироздание, взрыв.

То же чувство он испытывал, когда начинал думать о своем роде. О маме, живой, близкой, присутствующей с ним поминутно. О бабушке, чьи фамильные вещи, сине-золотые чашки из свадебного сервиза, костяной корсет и страусовые перья на дне сундука уводили его воображение к другому укладу, к несуществующему дому с многолюдной шумной семьей. Эта исчезнувшая семья, запечатленная в фамильном альбоме, вела свое начало от полупоупендарных стариков, каких-то ямщиков на Военно-Грузинской дороге, возивших на турецкий фронт царя.

За этими ездоками маячили уже безымянные мифические пращуры из Тамбовской губернии, духоборы, бежавшие на Кавказ от преследований. За этими пращурами был кто-то еще, вне родословной, имевший сходство с ополченцами из толстовского романа. Именно в ополченцах, встретивших Пьера на дороге под Можайском, узнавались его дальние, безымянные предки. А потом все сливалось в ровное колеблемое пространство родной истории с междуособьями князей, ратниками, скоморохами – было той бесконечностью, из которой, как из тумана, появлялись бабушка, мама, он сам, читающий книгу под оранжевым матерчатым абажуром.

Подобное же изумление он испытывал, глядя на звезды. Если долго смотреть, стоя у деревянного сруба, запрокинув голову вверх, то в самом центре неба вдруг раздвигалось скопление звезд и обнаруживалась скважина, напоенная синевою. Туда, в бездонную лунку, улетал его взор, его душа, его любящее, открытое небу сознание. Стоя на холодной траве у темного деревянного сруба, он улетал моментально в бескрайнее мироздание.

Множество нитей – родовые предания, усилия ума и чувства, прозрения страха и счастья – вели его в бесконечность. Уже в детстве он узнал, что смерти нет, а есть бесконечное, вдоль светового луча, удаление.

Самолет сонно плыл в горизонтальном полете. Фюзеляж был наполнен алюминиевым тусклым свечением. Лица солдат были похожи на камни, плотно, один к одному, приваленные к самолетной обшивке.

Калмыков прижался затылком к трясущемуся фюзеляжу, вглядывался в лица солдат, стараясь угадать их черты. Иногда ему казалось, он узнает того водителя, что едва не свалился в пропасть. Или того, что упал на бегу, не выдержал марш-броска. Или того здоровяка гранатометчика, что ловким пуском гранаты убил козу. Или тех, что в капонири мучили слабосильного, заталкивая ему в рот горсть земли. Ему казалось, он их узнает, но потом их лица стирались, становились похожими на одинаковые валуны.

Он и сам был похож на камень – отяжелевший, недвижимый, лишенный собственной воли. Ими, камнями, мостили дорогу в небе. Выкладывали длинную мостовую, по которой громыхал самолет.

Солдаты, сидящие на скамейках, уже не принадлежали себе, не принадлежали матерям и невестам, не принадлежали ему, Калмыкову. Они были собственностью огромного государства, которое пользовалось ими в своих интересах, мостило их головами обширные пространства земли и неба среди теплых и холодных морей.

Он чувствовал мерное движение в небе. На равном удалении друг от друга летели самолеты, несли в своих фюзеляжах роты, боевые машины, запасы снарядов и топлива. Батальон растянулся в воздухе по плавной дуге, повторяя кривизну земли.

– Товарищ подполковник! – Начальник штаба Файзулин, маленький, плотный, грудастый, с кошачьими усиками, наклонился к нему. – Прикажите переодеть личный состав!

– Личному составу переодеться! – приказал Калмыков.

От хвоста вдоль сидящих солдат двинулись прапорщики, несли перед собой тяжелые кипы одежд. Останавливались, отдавали солдатам. Те поднимались, начинали стягивать с себя рубахи, брюки, панамы. Полуголые, пришлепывали на металлическом днище, наполняли фюзеляж призрачными тенями, белизной своих плеч и ног. Весь самолет был полон полуголых людей, сдиравших с себя облачение. Тут же они облекались в форму афганской армии, грубошерстную, из плотно свалянного сукна. Натягивали ботсы, опоясывались широкими ремнями, нахлобучивали картузы с козырьками.

Калмыков, раздевшись, чувствовал стопами холод и вибрацию днища. Натянул такую же, как у солдат, без знаков различия форму, пробуя мускулами ее плотность, крепость, притоптывая жесткими каблуками.

Прапорщики шли вдоль рядов, подбирая груды снятых одежд, свернутые ремни со звездой, солдатские полевые панамы. Скоро солдаты успокоились, утихли, незнакомые и чужие в иноземной форме. Только лица под козырьками картузов казались все теми же – смутными валунами, наваленными вдоль бортов самолета.

Калмыков поднялся, прошел в кабину пилотов. И первое, что увидел, еще не разглядев экипаж в шлемофонах, – приборную доску в циферблатах и тумблерах, первое, что ослепило его, – луна, огромная, круглая, слезящаяся, словно в капельках белого жира. Она стояла в ромбовидном стекле, и казалось, самолет покинул притяжение Земли, движется на Луну, медленно к ней приближается.

Батальон спецназа, погрузив в самолеты оружие и бронемашину, по заданию государства летел на Луну. Среди безводных морей и остывших кратеров, оставляя на белесой пыли отпечатки гусениц и колес, станет кружить по лунной пустыне, выполняя приказ генерала.

Калмыков смотрел на круглую, с влажным блеском луну, вспоминал, как в детстве старался разглядеть на ней изображение мужика и телеги.

Ему стало вдруг больно: луна в московском окне, женщина в эту минуту смотрит на белое ночное светило. Не знает, что он, Калмыков, в чужой мохнато-колючей форме прижался

к косяку летной кабины среди фосфористых циферблатов и красных индикаторов. Огромный белый шар, заполняя небо, притягивает к себе самолет.

Глава пятая

Отсвет солнца на длинных, скользнувших у лица волосах. Легкий запах духов, налетевший в трамвае. Желобок груди за вырезом бархатного платья у соседки в театре. Стук каблучков по лестнице. У гимнастки – сильные линии ног. Ямочки на локтях продавщицы. Влажный, высокий, долгий смех в ночном дворе. Забытый, оставленный на лавке цветочек.

Любовь к женщине, предчувствие этой любви, ожидание ее, настойчивое ее выкликание были постоянной с детства тревогой, печалью, пониманием. Он чувствовал свою недостаточность, тяготился собой, искал свою полноту в другом человеке – в женщине. Он чувствовал свою несвободу и зависимость от внешнего мира в постоянных напоминаниях плоти. Его мысль и воображение напоминали о том, что рядом нет женщины. Но когда она наконец появилась, когда он в первый раз полюбил, это была свобода, было счастье, увы, каждый раз недолгое.

Сырое низкое небо с весенним блеском водостоков. Разбухший розовый тополь с истошным щебетом воробьев. Девочка на влажном асфальте играет в мяч. Звонкие удары мяча, упругие прыжки, кирпичная стена с мокрым отпечатком мяча. Он идет вдоль стены, слыша звонкие удары, в тревоге, в растерянности, под низкими морозящими тучами, под почками пахнущего, готового распусться дерева. И внезапный укол, удар боли и сладости, ослепительная беззвучная вспышка. Обморок, секундная потеря сознания. Медленное, сквозь сладость и боль возвращение в мелкий дождь, в воробьиный щебет, в звонкие удары мяча.

Он стоял, прислонившись к стене, не понимая, что с ним случилось. Какие неизвестные сладость и страдание пронзили его. Что за мучительная вспышка света ослепила его. Не знал у той мокрой кирпичной стены, что это была весть о любви.

Хрустнуло в алюминиевом подбрюшье шасси. Накренились лавки с солдатами. Калмыков почувствовал плечом, как надвинулось тело начальника штаба. Самолет выдвинул щитки-закрылки. И ночь заревела, засвистела, погнала самолет к земле. Прозвучал тяжелый удар о бетон, дребезг, смягченный гидравликой, пробежал по конструкциям. Калмыков костями ощутил встречу с чужой землей.

– Баграм! – сказал бортинженер, пробегая в хвост, стягивая с головы шлемофон.

Машины катились, жужжа пропеллерами, мигая рубиновыми вспышками. Разворачивались в медленных дугах и траекториях незнакомого аэродрома. Солдаты шевелились, тревожно ерзали на лавках, наклонялись к мешкам и оружию.

В тишине заглохших винтов медленно, со скрипом открывалось днище транспорта. Комбат в открывшийся зев, сквозь сочный холодный сквозняк, увидел звездное небо, где в конусе белого света садился транспорт. И другой, зажигая в высоте белый пучок, казался призрачным существом, наподобие прозрачного ангела.

Машины садились, ревя моторами, сбрасывая с себя огромную металлическую копну звука.

– Рота!.. Слева по одному!.. На выход!.. Марш!..

Солдаты вставали с лавок, натыкались один на другого, плотной вереницей сбегали по спуску, растягивались от кия по тусклому бетону среди садящихся воющих самолетов. Калмыков, сойдя с полосы, топтал подошвами колючую траву, всасывая ноздрями чистый холодный воздух, смотрел на высокие звезды, обрывавшиеся у черных гор. Чужая земля обступила его запахами, тенями и звуками, давала ему место среди своих растений, дуновений ветра и звезд.

– Воздух чистый, и вроде бы кизячком пахнет! – Командир первой роты поворачивал лицо к горам, где, невидимые, притаились жилища. Чужие, остывающие очаги источали слабые запахи иной жизни. – У нас в Союзе воздух загазованный, а тут заводов нет, деревней пахнет!

Его смутно освещенное лицо чутко обращалось к таинственным контурам гор, где, потревоженные самолетами, притаились чужие селения.

– Товарищ подполковник, куда выводить технику и личный состав? – Файзулин, маленький, быстрый, выкатился из тьмы, подсвеченный из-за спины синим лучом прожектора. – Никто не встречает!

Отшатнулся, схватил себя за лицо:

– Ах ты, черт!

Что-то билось, шуршало у него в кулаке. Он разглядывал мягкий шелестящий комок. Большой ночной мотылек примчался из ночи, ударил в его освещенное ртутно-голубое лицо. Чужая земля послала им знак – темно-серебристую мохнатую бабочку, оставившую отпечаток на круглом лице майора.

Огибая стоящий транспорт, высвечивая фарами неровную шеренгу солдат, подкатывала легковая машина.

– А ты говоришь, не встречают! – Грязнов натянул ремень автомата. – Поглядим, кто как встретит!

Машина остановилась, из нее вышел высокий узкоплечий военный в афганской форме с вислыми усами. Калмыков стал озираясь, искать переводчика.

– Командир роты аэродромного прикрытия аэродрома Баграм! – представился военный.

И Калмыков облегченно шагнул к нему, пожал большую тяжелую руку. Подумал: он, Калмыков, со своим батальоном – лишь часть неведомого обширного плана, по которому русский майор с ротой прикрытия обеспечил приземление транспорта.

– Товарищ подполковник, личный состав и технику после разгрузки отведите с полосы в степь. Тут и ночуйте. Утром из Кабула приедут встречающие. От них дальнейшие указания.

Прихватив в машину Файзулина, майор укатил. Скрылся в ртутном свечении прожектора, в металлическом дыму мотора, среди которых возникали солдатский строй, корма бэтээра, башня боевой машины десанта.

– Повсюду наши! – сказал подошедший Баранов, одобрительно поглядывая вслед легковушке. – В Африку прилети – наши! В Антарктиду, и там – пингвины и наши! Везде успеваем!

Боевые машины, медленно скользя лучами по бетону, по фюзеляжам, выруливали в черную степь, в сухие травы, выстраивались поротно в каре, стальными четверками, а внутри за железную стену машин укрывались солдаты. Садилась на землю, стелили плащ-накидки, вскрывали консервы, пачки с галетами. Степь дымилась, скрежетала, рассекалась прожекторами, наполнилась приказами, командами, руганью, словно в ней среди засохших растений и высоких звезд строился город.

– Разгрузка окончена, товарищ подполковник! Охранение выставлено! – Запыхавшийся начальник штаба соскочил с бэтээра.

– Костров не разжигать! – приказал Калмыков, глядя, как повсюду, где уселись солдаты, начинают загораться маленькие копотно-красные светляки (в земляную лунку ставилась банка с соляной, и на ней грелись консервы). – Еще раз проверь караул!

Начальник штаба кинулся исполнять приказание, и там, где он пробежал, меркли, гасли красные, испятнавшие степь светляки.

Роты утихали, укладывались. Меньше становилось криков, беготни. На машинах выключали прожекторы. Сквозь осевшую пыль становились видны высокие льдисто-белые звезды. И стали взлетать самолеты.

Разбегались один за другим, высвечивая перед собой клин пространства, облегченные, с густым гудением, взмывали, пронося над батальоном тусклые подбрюшья, красные ягоды габаритов. Уменьшались, складывали прозрачные крылья света, уходили за хребет. Солдаты молча, напряженно следили за исчезающими самолетами. Калмыков испытывал вместе с ними одинаково мучительное чувство – самолеты улетали домой, оставляя их в чужой незнакомой

стране. С уходом самолетов рвались последние связи с родиной, с родными и близкими. Они оставались одни, окруженные чужими горами, притаившимися селениями, незнакомым народом, среди которого им предстояло действовать, выполняя неявную, до конца не открытую им задачу.

Калмыков, тоскуя, следил, как взмывает последний самолет. Взбегает вверх по пологой кривой, распушив прозрачные лопасти света. Исчезает, превращается в красную бусину, в слабый, замирающий рокот.

– Я в этом году в отпуск успел сходить! – Файзулин следил, как исчезает последний самолет. – С женой отдыхали в деревне. Грибов засушили, варенье наварили, дети накупались, набегались!

Калмыков понимал: начштаба не давал улететь самолету, не давал порваться тончайшей ниточке звука, которая стягивала его с далекими речками, ягодными опушками, с хохочущими детьми.

– Ступай отдыхай, – сказал Калмыков. – Иди в машину, а я еще подышу!

Видел, как Файзулин отваливает кормовую дверь боевой машины, влезает внутрь, туда, где краснели на щитке сочные точки индикаторов.

Солдаты разбежались по машинам, устраивались на днищах, на пыльных тюфяках, накрывались бушлатами. Калмыков, кутаясь в плотную ткань бушлата, примостился у ребристого колеса бэтэра, смотрел на звезды, на их сияющие чужие орнаменты, касался ладонью шершавой земли.

Ему казалось, от земли поднимаются чуть слышные прохладные токи, омывают его руку, прокрадываются в рукав под одежду, холодят грудь.

Дыхание чужой земли охватывало его, и он через это дыхание соединялся с таинственными силами Востока. С древними погребениями. С остатками старинных фундаментов. С кладами древних монет. Земля, принадлежавшая другому народу, носившая на себе бесчисленные поколения неведомых людей, принимавшая обратно их иссохший прах, – эта земля касалась теперь его, Калмыкова. Обнюхивала своими шершавыми сухими ноздрями, словно ночной невидимый зверь. Она обнюхивала железные машины, смазку оружия, уснувших в отсеках солдат. Исследовала по-звериному запахи явившихся чужаков, старалась угадать, откуда они, чего ждать от них. Недвижно, оцепенев, чувствуя шершаво-холодные касания земли, Калмыков испытывал к ней влечение и одновременно боязнь, любопытство и отчуждение, как к могучему существу, которое или примет его дружелюбно, примирится с его появлением, или отторгнет, погубит, превратит в горстку костяной муки, смешает с камнями и пылью.

Упрашивая, заговаривая, как большую собаку, Калмыков гладил шершавую, в мелких травинках, почву. Поднес к лицу ладонь. Она слабо пахла растревоженными полынками. Звезды ярко блестели, увлажняли глаза.

Он заснул, забирая в сон блеск звезд, которые превратились в легкое скольжение саночек. Он скользил по заснеженному переулку, и все так знакомо, любимо – особнячок с лепными карнизами, обшарпанная колокольня, вороны в заиндевелой синеве.

Он опять очутился в милой московской квартире, где желтые пятна солнца, радуга в зеркале, бабушка, маленькая, белоголовая, примостилась в уютном кресле между ореховым буфетом и тумбочкой. И такая теплота и любовь, такое счастье, что она жива, вот ее добрая чудная улыбка, лучистый взгляд, синяя чашка в буфете. Она никуда не исчезла, просто переместилась из детства в эти азиатские земли, куда он прилетел самолетом. Здесь ее покой и уют, она тихо смеется, обнимает любимого, к ней прилетевшего внука.

Он проснулся от грохота, разорвавшего хрупкую материю сна. Вырвался в черный провал, где звезды, ребристое колесо бэтэра, звук отлетающего выстрела.

Схватил автомат, дергая предохранитель, кинулся, пригибаясь, на выстрел. Свет фонаря осветил броню боевой машины, сжавшегося солдатика, его испуганные глаза. Вокруг хлопали двери и люки, подбегали другие солдаты. Наставили на солдатика свет фонарей.

– Дурак, кто же палец на спуске держит!

– Во сне застрелиться мог, жмурик!

– Да лучше бы он в Союзе застрелился, чем его отсюда с дыркой тащить!

Калмыков узнал солдатика, того, что стоял на коленях на дне капонира, жевал слюнявую красную глину.

– Отставить гвалт! – Он оттеснял от солдатика здоровенного детину-сержанта. – Всем спать! А ты, Хакимов, – вспомнил он фамилию солдата, – не сиди, а стой в карауле! Проворо-нишь – получишь нож в спину. Здесь не учение – война!

Он отсылал солдат и офицеров обратно к машинам. Видел, как удаляются, секут траву лучи фонариков. Гаснут у дверц и люков.

Хакимов, почти невидимый, стоял у брони, осыпанный серебристой пудрой звезд. Первый выстрел уже прозвучал. Пуля, никого не задев, пролетела под звездами, упала на излете, среди высохших трав и камней.

В младшем классе, сидя за первой партой, он слушал учительницу, которая громко, твердо произносила слова, ударяла в доску белым кусочком мела. И вдруг почувствовал, что эта женщина словно прошла сквозь волнистый прозрачный воздух, изменилась и стала для него дорогой и желанной. Нежность, которую он к ней испытал, была не похожа на нежность к матери, а была мучительным обожанием ее голоса, ее волос, ее розовых губ, ее ног в темных туфлях с ремешками, перетягивающими подъем стопы, ее теплых телесных запахов, доносившихся до первой парты. Утратив смысл произносимых ею слов, затаив дыхание, он следил, как пальцы ее сжимают мел, бьют по доске, как отливают ее гладко причесанные волосы. Это созерцание, обожание были подобны оцепенению. В нем остановилось дыхание, биение сердца, оледенились зрачки. Она стала удаляться от него, как в перевернутый бинокль, а он в своей неподвижности отпускал ее, не мог наглядеться на ее лицо, руки, темные туфельки.

Учительница скоро ушла из школы, кажется, вышла замуж. Но много лет спустя, возмужав, испытав любовь, он все еще чувствовал волнение, когда думал о ее полузабытом лице, о часиках на пухлом запястье, о темном ремешке рядом со щиколоткой. Ее женственность однажды в детстве коснулась его, осталась в нем навсегда.

Калмыков проснулся под утро, когда железный сквознячок проник под бушлат и стал жалить ребра. Открыл глаза: звездное бледнеющее небо, черные зубья гор, и над каждой вершиной слабая голубая капля рассвета. Калмыков заткнул щель в бушлате и опять мгновенно заснул.

Второе, на одну секунду, пробуждение было от звякнувшей брони. Солдат вылез из люка, отковылял от кормы и мочился шумно. В сером воздухе было видно, как от мочи идет пар.

Третье пробуждение было в солнечном блеске. Сверкала роса на броне, гремели люки, выпрыгивали солдаты. На аэродроме, светлея алюминием, стояли истребители. В стороне плоско, уступами желтело глинобитное селение, и над ним мелкими завитками поднимались дымки. По дороге шел ишачок, всадник был в чалме, в долгополой одежде, поворачивал к боевым машинам смуглое чернобородое лицо, погонял ишачка прутиком.

Калмыков жадным молодым взглядом охватывал солнечные горы, селение, чернобородого наездника. «Афганистан», – произнес он. И от этого зрелища и звука произнесенного слова ему стало тревожно и весело. Не похожая ни на что новизна ландшафта волновала и веселила его.

– Кандыбай, кончай дрыхнуть, айда морду мыть! – Из люка на броню вылез здоровенный, голый по пояс узбек. Щурился на солнце, играл могучими мускулами, шлепал по холодной броне босыми стопами. На его выпуклой каменно-гладкой груди выше соска была наколка – синеволосяя девица. Узбек сжимал грудную мышцу, и девица дергала волосами, колыхала животом и задом. Калмыков узнал и его. Это был тот самый Шарипов, что мучил новобранца, заставлял его есть глину. – Ну, Кандыбай, долго ждать буду?

Узбек радовался пробуждению, своей силе и свежести, блеску текущего рядом полноводного арыка.

Солдаты сходились к арыку, черпали ладонями, брызгали на лицо, на плечи, повизгивали, покрикивали, обжигались о ледяную солнечную воду.

– Не пить! – крикнул начштаба, прижав ладони к губам. – Воду не пить! Заразу подцепите!

Солдаты не оглядывались на него, плескались у воды, гнали по арыку солнечные круги.

– Интересный у них рассвет! Темно, темно, а вдруг раз – солнце! – Командир четвертой роты Беляев крутил по сторонам выпуклыми радостными глазами, моргал белесыми ресницами. – Темно, темно, вдруг раз – включили солнце!

– Хлеб пекут. – Грязнов смотрел на курчавые струйки дыма, истекавшие из глинобитных строений. – Интересно, какой у них хлеб, лепешками или буханками?

Его ноздри шевелились, стараясь сквозь пространство свежего прозрачного воздуха уловить запах дыма и хлеба.

– Какие у них тут женщины, вот что интересно! – Ротный Расулов топорщил черные глянцевиные усы, похожий на утреннего кота. – Я видел двоих. Прошли в чехлах, ни ног не видать, ни лица. А чувствую, молодые идут!

У арыка раздался радостный крик, плеск. Шарипов, голый, плюхнулся в арык, распахнул солнечную вязкую воду. Вынырнул, крутил стеклянной черной головой, колыхал спиной, вздувал бугры мускулов. Поплыл, похожий на гладкого, сильного зверя. Все понимали: он сделал это для себя, для других. Кинулся в чужую воду, осваивая ее, приручая, заставляя себя и других не бояться чужую землю и воду.

Калмыков смотрел на плывущего в арыке солдата, был ему благодарен. Все они, чужаки, бессознательно стремились соединиться с этой страной, не причинить ей вреда, не быть ей врагами.

После построения, когда роты растянулись в степи, отбрасывая длинные тени, после завтрака, когда пустые консервные банки засверкали среди жухлой травы, Калмыков вышел за оцепление гусеничных машин, тревожась, что их никто не встречает. И навстречу его тревоге от аэродрома подлетела легковая машина. Приблизилась, стала, трое в афганской форме поднялись с сидений.

Первый был высок, худощав. На лице среди мелких сухих морщинок ярко светились голубые глаза. Улыбка была белозубой.

– Полковник Татьянушкин! – Он протянул Калмыкову быструю горячую руку, сжал в нетерпеливом пожатии. – Ну, как долетели? Вижу, отлично! – Он оглядывал стоящие в степи колонны техники, спящих солдат, словно моментально пересчитал их. – Отлично!

Второй был черноусый, смуглый афганец с мягкими фиолетовыми губами, женскими влажно-ласковыми глазами. Он козырнул Калмыкову, потянулся к нему коричневой щекой, и они трижды, по-восточному, коснулись друг друга щеками.

– Замкомандира гвардии майор Валех, – представил его Татьянушкин. – Говорит по-русски. Учился в Союзе. С ним будете взаимодействовать.

– Одесса учился. Много русский хороший друг Одесса! – подтвердил афганец, мягко складывая сиреневые губы, осторожно, с удовольствием выговаривая русские слова. – Здравствуйте! Будьте здоровы!

Третий был молодой человек с белесыми усиками. Вежливо, чуть в стороне, он ожидал, когда очередь дойдет до него.

– Наш переводчик Николай, – представил его Татьянушкин. – Будет вам помогать.

Вид этих троих улыбающихся, привлекательных людей, синие глаза Татьянушкина, бархатная щека Валеха, деликатное рукопожатие Николая мгновенно успокоили Калмыкова. Страна, в которую он явился, уже не казалась враждебной, выслала ему навстречу трех дружеских посланцев.

– Простите, что вчера не встретили. – Татьянушкин под руку отвел Калмыкова в сторону. – В Кабуле было вчера беспокойно. Попытка покушения на Амина. Вы приехали в самый раз. Усилите охрану резиденции.

– Можно вас пригласить на завтрак? – спросил Калмыков. – Из горячего только чай, кухню развернуть не успели.

– Надо ехать. Нас ждут в Кабуле.

К ним подошел Валех. В руке у него был ржаво-коричневый, корявый плод граната. Он извлек из кармана ножичек. Держа на весу гранат, взрезал заскорузлую корку, и открылась зернистая сверкающая сердцевина с бесчисленными крапинками черно-красного солнца.

– Пожалуйста, кушайте! – Он членил хрустящий гранат, окропляя лезвие розовым соком. – Сладкий, хороший!

Хватая губами холодную мякоть, чувствуя языком сладко-терпкие брызги, Калмыков наслаждался вкусом граната, зрелищем голубых гор, двумя ишачками, пылящими по солнечной дороге. И уже начинали грохотать моторы, бэтээры, осторожно вырывая, ломали каре, выезжали в степь, строились в маршевую колонну.

Глава шестая

В школе, в ранних классах, у него был товарищ, живущий на тесной улочке, по которой с морозным скрипом в зимнем солнце проползали красные заиндевелые трамваи.

Напротив, в каменном низком доме, размещалась баня, сырая, в сосульках, в темных потеках, с обвалившейся штукатуркой. В окнах бани, запотевших, обледенелых, туманно светились, неясно розовели женские тела. Они с товарищем, стыдясь друг друга, открыв форточку, подглядывали за этими близкими окнами. Если и в бане форточка была приоткрыта, то в ней вдруг возникала женщина – ее длинные мокрые волосы, овальные груди, белый округлый живот. Женщина куталась в простыню, поднимала ногу, вытирала колено, стопу. Исчезала из поля зрения. Пораженные зрелищем, они ждали, когда в туманном четырехугольнике форточки возникнет новая женщина, ее спина с ложбинкой, ее выпуклые груди с сосками, ее белизна, ее розовая влажная телесность.

Ночью, дома, лежа на узкой кушетке, видя, как мерцает зеленое стеклышко в абажуре, тускло светится золотой корешок старой книги, он не мог уснуть. Обнимал подушку, ворочался с боку на бок. Ему являлись эти дневные видения, обступали его. Он тянулся к ним губами, руками, хотел целовать распущенные мокрые волосы, выпуклые приподнятые колени. Все это кончалось мукой, опустошением, ночными слезами. Это было то тайное, неведомое миру, что превращало его отрочество в непрерывные печаль и страдание.

Легковая машина с Татьянушкиным и Валехом шла впереди по трассе, вытягивая за собой батальонную колонну транспортеров и гусеничных машин. Солдаты с оружием облепили броню, крутили во все стороны головами, рассматривали окрестности утренней незнакомой земли.

Калмыков, свесив в люк ноги, на головном бэтээре связывался по радиации с командирами рот, с начальником штаба, окликал растянувшийся шлейф колонны. В хвосте, в ее замыкании, следовали кухни с продовольствием, грузовики с боекомплектom, бензовозы с запасом топлива, две зенитные гусеничные «Шилки».

Встречный ветер был сладок, прохладен, давил на плотную ткань мундира, туманил глаза. Слушая доклады ротных, убеждаясь, что машины ровно, соблюдая интервалы, катят по бетонной дороге, Калмыков наслаждался студеной чистотой воздуха, пил его холод и сладость.

Природа вокруг казалась новой, пленительной. Оттенки света, форма камней, очертания растений – все волновало его. От шоссе разбежалась мягкая белесая степь, постепенно бугрилась и морщилась, превращалась в пыльно-серые складки, напоминавшие шкуры животных, из которых выдавливались сумрачно-розовые горы, превращались в далекий голубой хребет с одиноким ледяным зубцом. И хотелось улететь к его недостижимой бесплотной белизне.

Долина, по которой продвигалась колонна, была возделана. Изрыта каналами, прочерчена сухими и полноводными арыками, поделена на множество мелких клетчатых полей, усажена садами и виноградниками. Поля были то бархатно-черные, освободившиеся от бремени злаков, то бело-золотые, в срезанной стерне, то свежеизумрудные, в молодых всходах, а одно, покрытое высохшими стеблями, казалось оранжево-красным. Боевые машины катили среди лоскутного многоцветия, словно ковры были постелены у подножия каменных гор.

– Первый! Я – Тула!.. Смотри на спидометр! Не виси у меня на корме!.. – регулировал он скорость колонны.

Калмыков с любопытством рассматривал жилища. Серые гладкие стены, словно отшлифованные мастерком, без дверей и окон, с резкими косыми тенями от уступчатых башен, напоминали крепости, за которыми укрылась невидимая экзотическая жизнь. Она представлялась пестрой, нарядной, с многоцветием шелков, медью сосудов и блюд. Люди, населявшие крепости, были в кольчугах, с луками, с круглыми щитами. Так вспоминал Калмыков старинную

восточную картину в какой-то детской забытой книжке, ожившей вдруг на утренней афганской дороге.

Навстречу катили фургоны, огромные, крашенные, как сундуки. Хотелось подробней рассмотреть красно-синие и золотые наклейки, облепившие кабины грузовиков, взглядеться в смуглые лица шоферов среди блестящих бубенцов и подвесок. Но грузовики проезжали, оставляя на мгновение облако дыма, запах скотины и каких-то пряных вялых плодов.

По обочинам шагали крестьяне с мотыгами и граблями, худые, высокие, в долгополых одеждах, в клубящихся шароварах. Лица, черноусые, бородатые, с большими носами, казались красивыми и приветливыми. Трудами этих крестьян, их мотыгами и кетменями был вырыт арык с бурлящей солнечной водой, посажен безлистый прозрачно-розовый сад, обработано бархатное черное поле с золотыми блестками перепаханной стерни. Вглядываясь в моментально возникавшие и исчезающие лица, свешиваясь к ним с брони, Калмыков испытывал похожее на благодарность чувство: приняли его, чужака, встретили на своей дороге, допустили до своих разноцветных полей и арыков его урчащие стальные машины.

– Второй! Я – Тула! – вызвал он на связь колонну. – Не растягивайся!.. Прижимайся к обочине!.. Встречные грузовики не ударь!..

Проезжали ток, горы бело-золотого зерна. Мужчины деревянными лопатами подхватывали зерно, кидали в воздух, засеивали небо белой рябью. Мякина, легкая как пух, летела к дороге. Стальные машины пронзали легчайший прах.

У каменистого придорожного кладбища, утыканного корявыми палками с вислыми зелеными лоскутьями, он увидел похоронную процессию. Мужчины в чалмах несли на плечах носилки. На деревянном трясущемся ложе лежал забинтованный покойник, белая мумия, готовая к погребению в камнях.

Страна, в которой он оказался, доверчиво открывалась ему. Он вел свою боевую колонну, стараясь не потревожить местный уклад и быт. Их и нельзя было потревожить – бэтээры и боевые машины с пушками, броней и прицелами были крохотными песчинками среди снежных вершин и ущелий.

– Третий! Я – Тула! – связывался он с ротами. – Посади славян под броню!.. Оставь на броне мусульман!..

Они проходили придорожные посты и дозоры. У мостов через мелкие речки были отрыты окопы, навалены мешки с песком. В амбразурах торчали пулеметы. Закопченные солдаты вяло полулежали у дымных костров, грели в котелках неведомую пищу.

Несколько раз колонну останавливали. Навстречу легковой машине перед опущенным шлагбаумом выскакивал солдат, выставив штык вперед. Колонна замирала, накатывалась, сжимала интервалы. Бронемашин хрипели дымом, пока Валех и Татьянушкин показывали каральным документы. Шлагбаум подымался, и они продолжали движение мимо солнечных горных вершин и туманных синеватых ущелий, вдоль обочин с загорелыми, в долгополых одеждах людьми.

Они проезжали низкую лепную изгородь, за которой кудрявились и топорщились колючие заросли, полные голубого и розового воздуха. Перед изгородью в рытвинах белели высохшие камыши. Калмыков следил за бахромой седых камней, за волнистой лепной оградой, за людьми в белых чалмах, выставивших над забором свои бородатые лица. Это были все те же крестьяне, и в руках у них были орудия труда, которыми они рыхлили землю вокруг розовых старых яблонь, долбили почву арыков.

Он увидел, как мелькнули две вспышки. Отвратительный скрежещущий звук прошел по броне, проник в его кости и мышцы – звук ударившей пули. Люди в чалмах передергивали затворы винтовок, сносимые скоростью, целили в следующий, пролетающий мимо них броневик. С брони, откинувшись в люке, Грязнов долбил из автомата, подымал на глиняной стене солнечную горчичную пыль. Люди в чалмах убегали, исчезали в безлистных садах. Колонна

останавливалась, начинала палить в сады, пронизывая пулями розово-синий воздух, стреми-лась достать невидимых, убежавших стрелков.

– Отставить огонь!.. Автоматчики!.. Цепью!.. Грязнов, прикрой пулеметом!.. – Калмыков, сгребая с брони солдат, пригибаясь, кинулся к тростникам, проскальзывая их шелестящий прозрачный занавес. Рядом Татьянушкин и Валех, оба с короткоствольными автоматами, пронирали белесую волну стеблей, ломали сухие метелки.

Подбежали, плюхнулись у сухой шершавой стены. Калмыков разглядел россыпь мелких выбоин – следы ударивших пуль. Медленно, выставляя вперед автомат, поднялся, готовый к выстрелу, к кувырке, к падению.

Заглянул через стену. Стояли прозрачные безлистые яблони. Тянулись канавки, полные опавшей листвы. На листве, на спине, упав навзничь, отброшенный выстрелами, лежал человек. Чалма отлетела в падении, и бритая бугристая голова казалась чугуно-синей. На вытянутом жилистом горле чернела дыра. Из нее вяло, липко, как вар, текла кровь. В торчащей бороде блестели оскаленные зубы. Открытый рот был полон крови. Рядом, дулом в сторону, валялась винтовка – лысый приклад, окованный медными скобами, белый, утративший воронение ствол, круглый набалдашник затвора. Убитый лежал среди бледных зайчиков света. Его обступили солдаты.

– А я гляжу, винтовка!.. Ну, цирк!.. Я хотел сказать, а он шмяк!.. – изумлялся, ужасался маленький чернявый солдатик, показывая свой автомат с расщепленным прикладом. Пуля прошла насквозь полированное дерево, выломала колючие щепки. Глаза солдатика перебежали с пробоины в дереве на дыру в человеческом горле, из которой текла смоляная жижа.

– В кого он, гад, стрелял!.. В тебя, командир! – говорил Грязнов Калмыкову. Он утапывал землю вокруг убитого, двигаясь по невидимому кругу, не смея переступить черту, за которой лежал человек, сраженный его автоматом. – Я машинально сработал!.. Меня бьют, а бью! – оправдывался он, не понимая смысла происшедшего, пугаясь случившегося: он прилетел в чужую страну и тут же убил человека. – Меня из засады колотят, а я отвечаю!..

– Эй, хванды! Мусульманские братья! – Татьянушкин наклонился к убитому, заглядывая в его выпученные, полные слез глаза, в лунку рта, где скопилась черная кровь.

Валех, гибко изгибаясь спиной, похожий на чуткого зверя, наклонился к винтовке, рассматривал опавшие листья, удалялся к яблоням и опять возвращался.

– Взять!.. Сдать в разведку!.. Там найдут, как зовут! – указывал он стволом на лежащего.

Калмыков чувствовал запах, исходящий от убитого. Сквозь прель опавших листьев, сладковатый дух коры и растревоженной подошвами земли сочился едва различимый парной душок крови, слюны и слизи. Этот запах окружал лежащего человека, словно в испарении смерти еще витала его душа, не желала расставаться с остывающим телом, не хотела улететь сквозь прозрачные сине-голубые ветви сада. Это был запах чужой страны, в которую ударились бронированная колонна, умертвила живую плоть.

Офицеры, покидая машины, сбегались к ограде. Расулов хищно топорщил усы, перехватывал автомат, смотрел на убитого, вглядывался сквозь стволы безлистого сада, словно жалел, что не ему досталась добыча, не его автомат сразил человека в чалме.

Баранов носком ботинка трогал винтовку, осторожно, гадливо, будто желал убедиться, что винтовка, как и ее хозяин, не оживет и не выстрелит.

Беляев поднял из листьев оброненные четки, чешуйчатые, сверкающие, как змейка, с мохнатой кисточкой, незаметно сунул себе в карман.

Последним, запыхавшись, подбежал начальник штаба. Едва не натолкнулся на распростертое тело. Оттолкнулся вытянутыми ладонями от задранной вверх бороды, пробитого горла, больших, запачканных грязью рук, сжатых в кулаки. И вдруг побледнел, стал оседать и заваливаться, жалко лепетал бескровными губами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.